В последнее время я стал чувствовать, как во мне накапливается нечто такое, чему не дает выхода объективистский вид искусства, именуемый художественной литературой. Мне не двадцать лет, и я не поэт-романтик (впрочем, я и в двадцать лет романтиком не был), поэтому я долго искал подходящий жанр ив конце концов изобрел некую трудноопределимую разновидность исповедальной прозы пополам с критической эссеистикой. Назовем мое изобретение «критической исповедью». Если исповедь — это ночь, а критика — день, то я буду держаться где-то на порубежье, в свете вечерних сумерек. Скажем так — «имярек в свете сумерек»; хотя повествование и ведется от первого лица, не думайте, что речь идет о моей персоне. С вами будет говорить, так сказать, «сухой остаток», образовавшийся после того, как слова сказаны. Они сказаны и ушли, а говорящее с вами «я» неподвластно движению слов.

Я долго размышлял, что же оно собой представляет, это самое «я», и был вынужден прийти к следующему выводу: оно как раз соответствует месту в пространстве, занимаемому моим телом. «Язык тела» — вот название того, чему я не мог найти определения.

Если уподобить «я» дому, то тело — это сад, окружающий жилище. Я мог по собственному усмотрению содержать свой сад в идеальном порядке или дать ему прийти в запустение, зарасти сорными травами. Свободу этого выбора понимает не всякий. Многие считают, что над их садом властвует некая сила, которую они называют судьбой.

Однажды я решил привести мой сад в надлежащий вид и потихоньку приступил к работе. В качестве садовых инструментов я использовал солнце и сталь; неугасимое сияние светила и металл стали моими главными помощниками. И по мере того, как на ветвях культивируемого сада зрели плоды, тело приобретало для меня все большее и большее значение.

Перемена стала заметна не сразу — не в один день, не в одну ночь. И, разумеется, решение возделывать сад возникло не само собой, оно имело глубокие корни.

Когда я вспоминаю свое раннее детство, то оказывается, что память слова во мне появилась гораздо раньше, чем память тела. У нормальных людей жизнь начинается с ощущения своей плоти, а уж потом появляется слово. Ко мне же первыми пришли слова, а тело медлило, упрямилось. Когда я наконец с ним познакомился, оно уже обрело черты умозрительности и, конечно же, было все изъедено словами.

Обычная последовательность событий такова: стоит деревянный столб, потом в нем поселяются муравьи и начинают его грызть. В моем случае

первыми возникли муравьи, и лишь затем постепенно появился наполовину источенный ими столб.

Не нужно пенять мне на то, что я сравниваю слова, орудие своего ремесла, с муравьями. Ведь что такое мое ремесло? Оно подобно гравировке — слова, как азотная кислота, вытравливающая медную пластину, разъедают реальную жизнь, превращая ее в произведение искусства. Пожалуй, это не совсем точное сравнение. Медь и азотная кислота, естественные творения природы, перед ее лицом равны, слово же и реальность — нет. Слова — это средство, с помощью которого реальность преображается в абстрактные образы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают действительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами. Попробую применить другое сравнение, более подходящее. Представьте себе желудочный сок, выделяющийся столь обильно, что он не только растворяет пищу, но и изъязвляет стенки желудка.

Многие, вероятно, не поверят, что подобное явление может происходить в душе ребенка, однако со мной случилось именно это. Разыгравшееся в моем сознании действо заставило меня стремиться к двум совершенно разным, противоположным целям. С одной стороны, мне хотелось подхлестнуть коррозию реальности и превратить эту химическую реакцию в дело всей моей жизни; с другой стороны, во мне постепенно крепло желание вырваться в сферу, где слова не имеют никакой ценности, и там встретиться с подлинной действительностью.

Если человек родился на свет писателем и процесс его созревания идет естественно, так сказать, здорово, два этих различных по своей сути устремления не враждуют друг с другом, а, наоборот, вступают в сотрудничество: совершенствование слова дает благословенные плоды — помогает заново открывать реальность. Именно «заново», ибо с самого начала жизни такой писатель уже обладал знанием реальности, постигнув ее плотью, когда это знание еще не было замутнено словами. В моем случае все обстояло иначе.

Учителей приводили в недоумение мои школьные сочинения, потому что в них не ощущалось ни малейшего контакта с действительностью. Очевидно, еще ребенком я инстинктивно угадал хитроумную, стерильную суть Слова и использовал лишь его позитивное корродирующее действие, избегая коррозийности негативной...

Нет, выражусь проще: желая сохранить чистоту Слова, я стремился уберечь его от соприкосновения с жизнью... Я шевелил своими корродирующими щупальцами так осторожно, чтобы даже ненароком не

задеть реальность, не подвергнуть ее коррозии. Так или примерно так было устроено мое сознание.

Естественным следствием подобных умонастроений стало то, что я соглашался признавать существование реального и телесного лишь в тех областях, где Слово бессильно. Так «реальность» и «тело» сделались для меня синонимами, объектом жгучего, почти фетишистского интереса. Я и сам не почувствовал, когда мое изначальное увлечение Словом распространилось и на эту сферу, таким образом, во мне уживались два фетишизма диаметрально противоположного толка.

Поначалу я был явным и несомненным сторонником Слова, предоставив реальность, тело, действие другим. Мое нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов — безусловно, порождение этой искусственно созданной антиномии, да и глубоко укоренившееся в моем сознании непонимание сути реальности, тела, действия происходит из того же источника.

Антиномия эта зижделась на твердом убеждении в том, что я не властен ни над реальностью, ни над телом, ни над действием. Плоть вошла в мою жизнь с немалым опозданием, так что я встретил ее, успев вооружиться Словом. Полагаю, что под влиянием первого из упомянутых мною фетишизмов я отказался признать тело своей собственностью. Если бы я признал, что тело принадлежит мне, Слово утратило бы стерильность, реальность вторглась бы в мою жизнь, встреча с ней стала бы неизбежной.

Было одно примечательное обстоятельство: мое упорное нежелание признавать существование тела отчасти объяснялось неким глубоким, но по-своему прекрасным заблуждением. Я не знал, что мужское тело никогда не проявляет себя в виде объективной реальности. Мне казалось, что иначе просто не может быть. Когда же тело предстало передо мной, пугающим образом противореча реальности, отвергая самое ее существование, я пришел в ужас, словно столкнулся с кошмарным чудовищем, и ошибочно уверил себя в том, будто мой случай единственный в своем роде. Мне было невдомек, что и другие мужчины, *все* мужчины, рано или поздно делают для себя подобное открытие. Страх и замешательство, порожденные этим заблуждением, неминуемо заставили меня выдумать для себя и реальность, и тело — какими, по моему мнению, они должны были бы быть. Поскольку мне и в голову не приходило, что тело всякого мужчины по самой своей природе отвергает собственную экзистенцию, я приписал выдуманному мной «идеальному телу» те качества, которыми не обладал. Раз, думал я, мое ненормальное сосуществование с собственной плотью вызвано корродирующим воздействием слов, то в «идеальном теле» и «идеальной

действительности» слов не должно быть вовсе. Рисовавшееся моему воображению тело должно было обладать двумя главными характеристиками: красотой формы и абсолютной безгласностью.

Если коррозия способна не только разрушать, но и творить, то плодом ее творчества как раз и будет «идеальное тело», рассуждал я. Высшее выражение словесного искусства — абсолютная имитация физической красоты, иными словами, поиск нетленной, неподвластной коррозии реальности.

В этой логике таилось явное противоречие, ибо я одновременно лишал Слово его основной функции и отбирал у реальности самую ее суть. И в то же время мой «метод» являл собой истинное чудо ловкости и мастерства, давая возможность уберечь Слово и его объект, действительность, от их встречи лицом к лицу.

Когда я начал писать, моя душа, сама о том не подозревая, сидела разом в двух седлах и пыталась управлять бегом своих несущихся в разные стороны коней, что под силу разве что одному только Богу. А жажда познать жизнь и тело тем временем становилась все сильнее...

Много лет спустя, благодаря солнцу и стали, я выучил новый язык — язык тела. Он стал для меня вторым родным, знанием не врожденным, а обретенным. Именно об этом своем образовании я и хочу рассказать. Полагаю, что в истории педагогики и воспитания другого такого примера не существует, поэтому разобраться в моей истории будет непросто.

В детстве на меня произвело неизгладимое впечатление зрелище храмовой процессии: толпа молодых парней тащила паланкин с алтарем, пребывая в состоянии полного экстаза — лица отрешенные, взгляд отсутствующий, некоторые даже глядели, запрокинув головы, куда-то ввысь. Я смотрел на них, безуспешно пытаясь понять, что за таинственная сила светится в их глазах, и мое сердце наполнялось мучительным беспокойством. Мое воображение было не в силах уяснить природу массового опьянения неистовой физической нагрузкой. Долгие годы эта загадка не давала мне покоя, и ключ к ней отыскался, лишь когда я начал изучать язык тела, когда сам вместе с другими потащил на плечах алтарь. Оказалось, что мужчины просто смотрели в небо и все. Никаких видений в это время перед их взором не возникало — только ярко-синее сентябрьское небо. Но зато другого такого неба в своей жизни я не видывал: оно было очень странным — то бесконечно удалялось ввысь, то вдруг лавиной падало вниз; оно постоянно преображалось, соединяя в себе прозрачный свет и безумие.

Тогда же я написал об этом явлении небольшое эссе — таким важным

показалось мне мое открытие. Ведь синее небо, явленное моему поэтическому взору, ничуть не отличалось от того синего неба, которое видели окружавшие меня простые портовые парни, — этот факт был очевиден и несомненен. Я давно ждал такого момента, и вот он настал, благословленный солнцем и сталью. Вы спросите, почему мое единство с толпой показалось мне неоспоримым? Да потому, что, когда люди поставлены в одинаковые физические условия, несут одно и то же бремя, поровну делят тяготы, да еще опьянены единым хмелем, — их индивидуальные различия сокращаются до минимума. К тому же опьянение подобного рода отлично от чисто интимного галлюцинирования, вызываемого наркотиком, — то, что я испытал, можно назвать коллективным, массовым галлюцинированием. Моя поэтическая интуиция на сей раз, впервые в жизни, вступила в свои права и реконструировала реальность при помощи слов уже после события, а это значит, что, глядя в беспрестанно меняющееся небо, я проникся новым для меня пафосом действия.

И там, в этой то вздымающей ввысь, то падающей вниз синеве, так похожей на гигантскую хищную птицу, я увидел истинную природу Трагического.

С давних пор у меня было собственное определение Трагического. Его пафос проявляется тогда, когда самое заурядное сознание вдруг возносится на необычайную, недоступную окружающим высоту. Для сознания, первоначально обладающего особо острой восприимчивостью, такой взлет заведомо невозможен. Вот почему тот, кто посвятил себя Слову, может лишь создать трагедию, но участвовать в ней — никогда. Есть и еще одно необходимое условие: восхождение на высоты Трагического всегда основывается на физическом мужестве особого свойства. В момент, когда заурядное сознание, обладающее такого рода силой, соединяет в себе необходимые компоненты — боль, опьянение, невероятную остроту видения, — и происходит рождение Трагического. Назову еще некоторые условия: избыток совершенно «нетрагической» витальности, невежество и определенная неприспособленность к жизни. Для того чтобы человек мог на миг приблизиться к Божеству, в обычной жизни он должен находиться от небес как можно дальше.

Лишь увидев собственными глазами то невероятно близкое к Божеству синее небо, я уверовал в универсальность своего чувственного восприятия. И моя давняя жажда разом утолилась, моя слепая, болезненная вера в Слово растаяла как дым. Я ощутил себя участником трагедии, действующим лицом бытия.

Стоило мне один-единственный раз заглянуть в этот мир, и многое, прежде неведомое, открылось моему разуму. Работа мышц без труда разогнала мистический туман, сотканный словами. Мое прозрение было похоже на эротическое пробуждение юного тела. Я начал понимать и чувствовать, что такое жизнь и что такое действие.

Если бы я тут остановился, это означало бы только, что я, пусть с опозданием, вышел на путь, которым идет большинство людей. Но в моей голове уже зрел новый замысел. Нет ничего удивительного в том, что некая идея созрела во мне и со временем подчинила себе всю мою душу, размышлял я, — такое происходит сплошь и рядом. Но почему этот процесс всегда ограничен пределами одного лишь духа — в них зарождается, ими же и исчерпывается? Я так устал от многолетнего раздвоения души и тела! Разумеется, бывает и так, что движения души выплескиваются в сферу телесного: например, нравственные терзания порождают язву желудка или что-нибудь в этом роде. Но я имел в виду связь совсем иного свойства. Если в детстве моя плотская оболочка возникла в виде абстракции, изъеденной ржавчиной Слова, то нельзя ли обратить этот процесс вспять: взять идею и перенести ее из духа в плоть, выковать из собственной души стальные доспехи для тела?

Эта концепция, концепция Тела, проистекает из моего определения Трагического, о чем я уже писал выше. По моему суждению, тело обладает большей склонностью к восприятию идеи, нежели дух, оно способно впитать ее глубже и основательнее. Ведь для человеческого существа идея — понятие изначально чуждое. Точно так же для души чужеродным является тело, неподвластное контролю разума и управляемое собственными законами — непроизвольными сокращениями мышц, работой внутренних органов, процессами в системах циркуляции. Вот почему человеку не так уж сложно воспринимать собственное тело как метафору идеи — в конце концов они равно отдалены от нашего «я». Когда неистовое, роковое вторжение идеи подчиняет себе человеческую душу, зависимость, в которой оказывается последняя, весьма напоминает зависимость от своей плоти, Так хорошо знакомую каждому из людей. Неконтролируемая, нерассуждающая приверженность идее невероятно схожа с узами, прикрепляющими дух к телу. Полагаю, именно на этом зиждется и христианский догмат Воплощения, и следы гвоздей, чудодейственным образом появляющиеся на ладонях и ступнях религиозных фанатиков.

Но возможности человеческого тела имеют свои пределы. Скажем, если вами овладевает неистово сильное желание вырастить у себя на лбу

ветвистые рога, вряд ли у вас это выйдет. Ограничения плоти — чувство меры и равновесие, регулирующие телесное бытие. Чувство меры и равновесие способны создать усредненный тип красоты, способны они снабдить нас и теми физическими характеристиками, которые позволяют носильщикам алтаря видеть вибрацию неба. Но не более того. Чувство меры и равновесие выполняют особую, корректирующую функцию, беспощадно расправляясь с любой чрезмерно эксцентричной идеей. Их миссия — всякий раз возвращать человеческое «я» к исходной точке, где любые сомнения в собственном отличии от прочих особей людской породы становятся невозможными. Вот мое тело, думал я. Оно — порождение идеи, и в то же время оно может стать идеальным прикрытием, плащом, в который идея завернется и спрячет свой лик. Если бы плоть сумела достичь безличной, совершенной гармонии, мое «я» навечно угодило бы под домашний арест. Я всегда полагал, что толстое брюхо (признак духовной неряшливости) и хилая грудь (признак чрезмерной чувствительности) крайне отвратительны, поэтому был несказанно удивлен, когда узнал, что находятся люди, считающие подобные физические изъяны привлекательными. Мне телесные несовершенства казались чем-то постыдным — ведь их обладатель, по сути дела, выставлял напоказ срамные атрибуты своего духовного уродства. Пожалуй, это единственный вид нарциссизма, который я не способен понять и простить.

Долгие годы отстранение духа от плоти, — плод изводившей меня потаенной жажды, — было главной темой моих произведений. Отходить от нее я начал лишь тогда, когда в голову мне пришло, что и у тела может быть собственная логика, даже собственная идеология. Постепенно во мне зрела убежденность, что внешняя привлекательность и безмолвие вовсе не являются идеальными характеристиками плоти — она может быть и красноречивой.

Однако читатель, следя за ходом моей мысли, наверняка скажет, что я начал с трюизма, а затем вышел за рамки здравого смысла и заблудился в лабиринте алогизмов. Отчуждение духа от плоти стало настолько распространенным явлением в современном обществе, что на это сетуют все и каждый. Но это еще не дает оснований, скажет читатель, нести какой-то чувствительный вздор про идеологию и даже красноречие тела. Автор просто играет словами, пытаясь скрыть растерянность и замешательство.

Вовсе нет. Мое позднейшее открытие было предрешено в тот самый момент, когда я попробовал поставить знак равенства между фетишизмом реальности и плоти, с одной стороны, и фетишизмом Слова, с другой. Итак, в левой части уравнения — безгласное красивое тело, в правой —

прекрасное Слово, имитирующее физическую красоту. Стоило мне сопоставить два эти детища единой идеи, и я почувствовал, как начинаю освобождаться от пут Слова. Ибо само осознание того, что красота безмолвного тела и красота Слова происходят из общего источника, означало выход на чисто платоновскую идею равенства плоти и речения. Отсюда уже было рукой подать до следующего этапа, когда тень Слова ляжет на мою физическую оболочку (хотя подобное деяние, разумеется, совершенно не в платоновском духе). Оставался еще один, последний шаг, чтобы я в полный голос заговорил об идеологии и красноречии тела.

Но прежде я должен рассказать о своей первой встрече с солнцем.

Как ни странно это прозвучит, я встречался с солнцем всего дважды. Иногда бывает так: жизнь сводит тебя с человеком, с которым ты не расстаешься до самой смерти; при этом со временем обнаруживается, что вы оба мимоходом уже видели друг друга когда-то прежде, но в тот, первый, раз не придали значения этой встрече. Примерно так же произошло и у меня с солнцем.

Наша первая, мимолетная, встреча состоялась летом сорок пятого года. Только что закончилась война, и солнце неистово палило, выжигая буйные летние травы, которыми густо заросла граница между военной и мирной жизнью. Граница эта напоминала проржавевшие, полуразвалившиеся проволочные заграждения, едва видные сквозь зеленые заросли. Я шагал под жаркими лучами, не имея ни малейшего понятия о смысле солнечного сияния.

Плотный равномерный свет бесшумно лился с небес на землю. Трава, кусты, деревья зеленели точно так же, как во время войны, точно так же омывало их безжалостное полуденное сияние, покачиваясь знойным маревом под легкими дуновениями ветерка. Зрелище это показалось мне миражом, я коснулся листьев пальцами и был удивлен, когда видение не растаяло.

Долгие месяцы и годы солнце ассоциировалось у меня с распадом, гибелью, разрушением. Оно сверкало на крыльях взлетающих бомбардировщиков, на щетине штыков, на кокардах фуражек, на золотой вышивке знамен. Но глядя на игру его бликов, я думал совсем о другом: о поблескивающей крови, льющейся из зияющей раны; о серебристых мухах, густо обсевших бездыханное тело. Солнце, властелин смерти, увело молодых парней в южные моря и дальние горы, на неминуемую гибель, а потом торжествующе озарило своим слепящим сиянием пустынные, гниющие, кроваво-красные горизонты.

Образ солнца был для меня неотрывен от образа смерти. Разве мог я

представить, что настанет день, когда светило осенит мою плоть благодатью? При этом я хорошо помню, как солнце военной поры будило во мне грезы о славе и сияющем величии.

В пятнадцать лет я написал такое стихотворение:

А солнце все так же сияет,
И люди возносят солнцу хвалу.
Лишь я избегаю солнца.
Я душу прячу в яму, во мрак.

До чего же я любил свою «яму», темную комнатку, где на столе стопками громоздились книги! Как нравилось мне неспешно рыться в собственной душе, укутываться в раздумья, прислушиваться к жужжанию чахлых жучков, копошившихся средь зарослей моих нервов!

Враждебность к солнцу была единственным проявлением моего юношеского недовольства героическим духом того времени. Сиянию дня я предпочитал ночь Новалиса и ирландские сумерки Йетса. Я писал повести о кромешной тьме средневековья. Однако после окончания войны до меня постепенно дошло, что теперь ненавидеть солнце — означает слиться с толпой.

В книгах, которые выходили в свет после поражения в войне, господствовал идейный мир ночи, и разница состояла лишь в том, что моя ночь была несколько эстетичнее. Особым почтением стала пользоваться уже совершенно кромешная тьма, по сравнению с которой даже густая, как мед, ночная чернота моей юношеской прозы казалась чуть ли не светом. И я утратил веру, питавшую меня в военные годы, в моей голове появились новые мысли: а может быть, я с самого начала, сам о том не подозревая, принадлежал к приверженцам солнца? Вероятно, так оно и было. Я пришел к выводу, что моя неприязнь к солнцу, моя упорная влюбленность в собственную ночь, маленькую и не похожую на другие, — это подсознательное желание шагать в ногу со временем и не более.

У людей, чьи помыслы отданы темноте, слабый желудок и сухая, лишенная глянца кожа — у всех, без исключения. Эта публика норовит окутать идеологическим мраком целые эпохи и отвергает солнце в любых его известных мне ипостасях. Мои взгляды на жизнь и на смерть эти люди тоже отвергают, поскольку в моем мировоззрении слишком много солнца.

Вновь я встретился с солнцем на палубе океанского парохода, мы заключили тогда мир и союз. Это было в 1952 году, я впервые в жизни отправился в заграничное путешествие. Но о своем рукопожатии с солнцем я уже писал в другой книге, поэтому повторяться не буду. Напомню лишь,

что это была вторая наша встреча.

С того дня моя связь со светилом не прерывалась. Солнце стало главной дорогой моей жизни. Со временем оно покрыло мою кожу загаром в знак того, что отныне я принадлежу к его племени.

Но, скажете вы, разве сама человеческая мысль не принадлежит царству ночи? Разве не таится словесное творчество в жарком полуночном мраке?

Что ж, я не оставил своей давней привычки работать до рассвета, и окружает меня множество людей, чья бледная кожа неопровержимо свидетельствует об их принадлежности к племени ночных мыслителей.

Почему человек вечно устремляется в неведомые глубины, в самую бездну? Почему мысль, подобно свинцовому грузилу, способна двигаться лишь вертикально вниз? Отчего бы ей не изменить направление движения и не взмыть вверх?

Я не мог понять, почему человек с таким презрением относится к гаранту своей физической формы — собственной коже, отводя ей жалкую роль рецептора осязательных ощущений, и только. Почему мысль, стремясь достичь глубины, непременно должна погрузиться в бездонную пропасть, а если уж решит воспарить, то улетает в столь же непостижимые заоблачные высоты, начисто забывая о существовании тела? Законы динамики разума были для меня загадкой. Если природа мысли такова, что ей необходимо во что бы то ни стало сохранять линейно-вертикальное движение, то почему бы мозгу человека не попытаться обнаружить глубину и смысл в сложной, многосоставной субстанции, отмеряющей наши физические пределы и отделяющей внутренний мир от внешнего? Это казалось мне вопиюще аналогичным.

Солнце же вытягивало мою мысль из кишечных, ночных глубин чрева ближе к поверхности и свету — туда, где под золотистой кожей наливаются силой мускулы. Солнце приказывало мне построить для своих идей новое жилище, надежное и прочное, которое располагалось бы в непосредственной близости от моей телесной оболочки. Стенами этого нового дома должны были стать загорелая, сверкающая кожа и мощные, рельефно очерченные мышцы. Большинству интеллектуалов недоступна идеология физической формы именно из-за того, что эти люди не создали для себя подобного обиталища.

Идеология ночи — детище слабых, болезненных внутренностей; она возникает сама собой, прежде чем человек успевает понять, что, собственно, было отправным пунктом — идея или придушенный голос зарождающейся болезни. Втайне от хозяина плоть медленно, но верно формирует идеологию. В то же время внешний облик тела виден и понятен

каждому, посему для создания идеологии поверхности тела необходимо сначала закалить, подготовить свою оболочку. Со мной было так: я увлекся идеей глубины телесной оболочки, а уж потом понял, что первоочередная задача — готовить свою плоть.

Мне было ясно, что гарантию дает только тренировка мышц. Кто поверит теоретику физического совершенства, если он слаб и хил? Можно, конечно, рассуждать, запершись в кабинете, об идеологии ночи, но разглагольствовать о проблемах тела — неважно, восхваляя его или принижая, — у тщедушного книжного червя права нет. Я очень хорошо, я бы сказал, слишком хорошо это понимал, а потому в один прекрасный день решил, что непременно обзаведусь роскошной мускулатурой.

Прошу читателя обратить внимание на следующее обстоятельство: мое решение целиком и полностью было продуктом разума. Тренировка тела делает непослушные мышцы послушными. Точно так же, по моему глубокому убеждению, можно тренировать и собственную идеологию. И мускулы, и идеи подвластны некоей властной силе — назовем ее законом природы, — которая привносит в их развитие определенный автоматизм, но мне не раз приходилось видеть, как меняют направление мощного речного потока, прорыв один-единственный узенький канал.

Это еще один пример единства тела и духа. Оба они склонны, попав во власть идеи, в мгновение ока создавать целую маленькую вселенную, где, на первый взгляд, будут царить полная гармония и порядок. На самом деле картина эта совершенно статична, но создает впечатление бурного центростремительного движения. Способность тела и духа сотворять пусть недолговечный, но совершенный макет мироздания напоминает действие миража или галлюцинации, и все же быстротечными мгновениями счастья, выпадающими на нашу долю, мы часто бываем обязаны этому иллюзорному ощущению гармонии. По сути дела, так проявляется оборонительная функция жизни, которая сжимается в клубок, как еж, и ощетинивается иголками против хаоса внешнего мира.

Таким образом, я имел возможность разрушить одну выдуманную вселенную и заменить ее новой, вырвать из цепких рук жизни процесс формотворчества и использовать его в собственных целях.

Я незамедлительно приступил к осуществлению этой идеи. Впрочем, вернее было бы назвать ее не «идеей», а «задачей», ибо отныне солнце и в самом деле каждый день ставило передо мной новую задачу, которую необходимо было выполнить.

Так в моей жизни возникла сталь, стальные слитки — темные, тяжелые, холодные, словно бы впитавшие и сконцентрировавшие в себе самую суть

ночи.

Моя дружба со сталью длится уже больше десяти лет.

Этот металл обладает поистине удивительными свойствами: когда я понемногу увеличивал его вес, подкладывая на несуществующие весы все новые и новые гири, мои мускулы, находившиеся на другой чаше этих весов, тоже постепенно делались тяжелее. Казалось, что сталь взяла на себя обязательство сохранять строгое равновесие с моей мышечной массой. А со временем и мое тело стало все больше походить на металл. Этот неторопливый процесс весьма напоминал школьную систему обучения, когда мозг учеников, преодолевая все более сложные логические задачи, постоянно повышает уровень своего развития. Да и конечная моя цель была схожа с задачей, которую ставит классическое образование, — я тоже стремился к идеалу, к совершенной, классической форме тела.

Однако что было оригиналом, а что имитацией — воспитание духа или воспитание тела? Разве не прибегнул я к помощи Слова, чтобы воспроизвести классический идеал физической красоты? Прекрасное всегда казалось мне чем-то неуловимым. Ну и пусть — главное, что оно некогда существовало или хотя бы должно было существовать.

Благодаря сочетанию и тончайшим вариациям упражнений, сталь помогала мне воскресить утраченный классический баланс плоти, вернуть мое тело к форме, которую ему полагалось иметь.

Организм мужчины обладает множеством мышц, которые в современной жизни стали в общем-то не нужны. Они столь же необязательны, как классическое образование, — во всяком случае, с точки зрения человека практического. Большинство мускулов превратились в некое подобие древнегреческого или латыни. Чтобы возродить этот мертвый язык, понадобился учитель, имя которому — «сталь». Без помощи этого наставника безмолвие смерти ни за что не превратилось бы в красноречие жизни.

Сталь научила меня соотносить телесное с духовным. Так, вялые чувства начали у меня ассоциироваться со слабыми мускулами, сентиментальность — с обвисшим животом, чрезмерная чувствительность — с болезненной, бледной кожей. В то же время выпуклые бугры мышц сделались синонимом бойцовского духа, подтянутый живот — признаком холодной решимости, упругая кожа — свидетельством крепкой и здоровой натуры. Оговорюсь сразу: я вовсе не считаю, что так оно всегда и бывает. Даже моего скудного жизненного опыта достаточно, чтобы знать — за мощной мускулатурой нередко скрывается трусливое сердце. Я имею в виду другое: для меня, человека, узнавшего Слово прежде, чем я узнал

Тело, такие понятия, как «бойцовский дух», «холодная решимость», «здоровая натура», первоначально имели вид отвлеченных символов; для того чтобы облечь их плотью, я должен был каждый из них привязать к определенной физической характеристике.

Помимо тяги к классическому самовоспитанию я постоянно ощущал действие еще одного элемента — романтизма. С детских лет в моей душе присутствовало романтическое подводное течение, смысл которого сводился к одному — к разрушению классического совершенства. В увертюре оперы моей жизни романтизм звучал предвестием одной из будущих главных партий. Я еще ничего не испытал и не достиг, а линия уже была намечена и предопределена. Выражусь определенней: я испытывал романтическое влечение к смерти, однако необходимым условием для достижения этой цели считал обладание классически совершенным телом. Моя мечта была далека от осуществления, и я относился к этому на удивление фаталистически, находя для себя самое простое из оправданий — я не гожусь для смерти физически. Мне невозможно было представить себе романтически благородную гибель без атлетического торса с рельефной мускулатурой. Хилое тело в объятиях смерти — что может быть комичнее и вульгарнее? Когда мне было восемнадцать, я грезил о ранней гибели, но отлично понимал, что не подхожу для подобной участи, поскольку не обладаю мускулатурой, соответствующей драматическому финалу. Мое романтическое чувство особенно страдало от мысли о том, что я пережил военные бури лишь благодаря своей физической неполноценности.

Все эти умствования ровным счетом ничего не стоили, ибо их мелодия терялась в увертюре жизни, в которой еще ничего не произошло. Сначала я должен был чего-то достигнуть или хотя бы что-то разрушить. И сталь дала мне такую возможность.

Когда я оказался у того предела, где большинство людей начинают ощущать удовлетворение от накопленных знаний, вдруг обнаружилось, что интеллектуальное развитие для меня — вовсе не мирный атрибут культурного образования, а грозное оружие, назначение которого — помочь мне выжить. С этого момента и возникла потребность в воспитании своего тела. Обычно бывает наоборот: человек, живший одной только физической жизнью, возле смертного одра своей молодости начинает ощущать потребность в интеллектуальном росте.

Благодаря стали я узнал много нового о своих мышцах. Это знание поразило меня новизной и свежестью, его невозможно было почерпнуть ни из книг, ни из жизненного опыта. Мускулы — это не только физическая

форма, это еще и сила. Каждая их группа способна направлять энергию куда-либо, словно лучи света.

Форма, наполненная силой, — этот образ как нельзя лучше соответствовал моему давнему идеалу произведения искусства. К тому же этот органический шедевр еще и испускал лучи!

Создаваемые мной мускулы являлись одновременно принадлежностью бытия и предметом искусства; при этом парадоксальным образом они обладали всеми признаками абстракции. В них имелся всего один изъян — они были слишком тесно сплетены с жизнью, а потому вместе с ней обречены на увядание и гибель.

Я еще напишу об абстрактной сути атлетического телосложения, пока не скажу лишь, что мускулы обладают одним поистине бесценным для меня качеством: их действие противоположно действию слов. Это становится ясно, если вспомнить о происхождении Слова. Оно возникло в границах одного племени, выполняя функцию обмена чувствами и волей — на манер первобытных каменных денег. Пока Слово не стерлось от употребления, оно принадлежало в равной степени всем членам общины, а стало быть, могло выражать лишь эмоции, присущие всем и каждому. Постепенно, однако, Слово перешло в личную собственность, и всяк стал использовать его на свой вкус и лад, в результате чего и зародилось искусство игры словами.

Подобно рою мошкары, слова накинулись на меня со всех сторон, вознамерились подчинить себе мое «я», навеки запереть меня в своих пределах. Весь искусанный, я тем не менее исхитрился обратить против агрессора его же собственное оружие, одновременно являющееся его самым уязвимым местом, — я имею в виду универсальность Слова. Мне удалось благодаря использованию слов приоткрыть свое «я» окружающему миру.

Безусловно, я добился лишь того, что выявил свою непохожесть на остальных людей, то есть достиг результата, противоположного функции и задаче Слова.

Нет ничего диковиннее ореола славы, которым осенены вербальные искусства. Суть их сводится к парадоксу: на первый взгляд, они ставят себе целью общедоступность и понятность, на деле же совершают коварное предательство, подрывая самую основу Слова — универсальность. Именно таков смысл победы литературного стиля над содержанием. Исключением являются, пожалуй, разве что древние эпические сказания, созданные многими безымянными творцами. Если же на обложке значится фамилия

автора, можете не сомневаться — перед вами красивая, но дегенерированная мутация Слова.

Разве возможно выразить посредством слов синеву неба, того самого мистически-синего неба, в которое вглядываются носильщики алтаря? Я уже говорил, что испытываю по сему поводу глубочайшие сомнения. Зато благодаря стали я обнаружил в собственных мышцах экстаз похожести, наслаждение быть таким же, как все. Под безжалостным давлением стали мои мускулы стали утрачивать свою индивидуальность (которая была порождением слабости и дегенерации!); по мере закаливания мое тело делалось все более безличным и универсальным; в конце концов оно достигло нормы, утратив какие бы то ни было признаки непохожести. Этой всеобщности уже не угрожали ни коррозия, ни предательство — а для меня ничего важнее не существует.

И тут обнаружилось, что мышцы, столь материальные — ведь их можно и увидеть, и пощупать, — начинают обретать черты абстракции. Казалось бы, в отличие от слов, мускулы никоим образом не связаны с коммуникативной функцией, а стало быть, заведомо лишены качества абстрактности, как правило, возникающей только в сфере общения между людьми. И все же, все же, все же...

Как-то летним днем я подошел к окну, чтобы остудить разгоряченное тренировкой тело. Пот на сквозняке моментально высох, и по всей коже заструилась легкая ментоловая прохлада. Внезапно я почувствовал, что не ощущаю больше своих мышц. Прежде так бывало только со Словом: иной раз, разрушив своими абстракциями до основания конкретность вселенной, оно на время как бы и само перестает существовать. Теперь нечто подобное произошло с телом — оно тоже перемололо в порошок целый мир. Перемололо и тут же само исчезло.

Что это был за мир, раздавленный моими мускулами?

Мир общепринятых представлений о бытии, в который мы верим больше по привычке. Он рухнул, и вместо него меня заполнило ощущение могучей полупрозрачной силы. Вот что я называю абстракцией. Опыт общения со сталью подсказывал мне, что мышцы и металл находятся во взаимной зависимости, напоминающей связь каждого из нас с внешним миром. Сила не является силой, если она не приложена к некоему объекту. На этом же принципе построены и наши отношения с окружающей действительностью; я стал зависеть от стали точно так же, как остальные зависят от внешнего мира, который формирует человека. Меня же выковывала сталь, постепенно передавая моим мышцам присущие ей свойства. На самом деле ни сталь, ни окружающий нас мир не обладают

ощущением бытия, однако инерция мысли заставляет нас уверять себя, что, подобно нам, людям, и вселенная, и металл тоже сознают свое существование. Иначе, как нам кажется, мы не сможем убедиться в истинности нашей собственной экзистенции; и Атлас, держащий на плечах небесный свод, с легкостью уверит себя, что он и его ноша суть одно целое. Наше самоощущение нуждается в существовании объективного мира, вне выдуманной нами же релятивистской вселенной жить мы не можем.

И в самом деле, поднимая стальной груз, я чувствовал, что верю в свою силу. Я сражался за эту веру, пыхтя и обливаясь потом. В такие мгновения сила была нашим общим достоянием — моим и стали. Экзистенция становилась самодостаточной.

Но стоило мышцам расстаться со сталью, и их охватывало невыразимое одиночество; я чувствовал, что бугры и выпуклости на моем теле — это зубчатая шестерня, не имеющая никакого смысла без сцепляющегося с ней колеса. Меня обдуло ветерком, пот высох — и ощущение собственного тела исчезло... И все же именно в этот миг мускулы выполнили самую главную свою задачу: своими мощными зубцами они раскрошили релятивистский мир и создали мир прозрачной силы, мир чистых, беспримесных ощущений, не нуждающийся ни в каких посторонних объектах. Там даже мускулы стали ни к чему, и я оказался в средоточии абсолютной Силы, подобной лучезарному сиянию.

В чистом ощущении силы, которую мне не дали бы ни книги, ни аналитические изыскания, я открыл для себя подлинный антипод Слова.

Так, кирпичик за кирпичиком, возводился фундамент моей новой идеологии.

Создание новой идеологии начинается с попыток сформулировать главную, пока еще не вполне определившуюся идею. Перед тем как приступить к ловле, рыбак долго выбирает удочку по руке; так же поступает и фехтовальщик, тщательно подбирая бамбуковый меч нужного веса и длины. Когда же человек собирается изменить свое мировоззрение, он присматривается к смутно рисующейся ему концепции, пытаясь придать ей то одну форму, то другую, и в конце концов находит приемлемый образ, после чего идея делается его подлинной собственностью, проникает ему в душу.

С тех пор как я впервые испытал ощущение чистой силы, во мне возникло предчувствие, что это переживание станет ядром моей новой идеологии. Меня охватила тогда невыразимая радость, я предвкушал наслаждение особого рода: как я вволю наиграюсь с зарождающейся идеей,

прежде чем она станет моей плотью и кровью. О, я не буду торопиться, постараюсь, чтобы концепция как можно медленнее обретала законченный вид, буду бесконечно экспериментировать с формой и всякий раз возвращаться к поразившему меня ощущению чистой силы — проверять, на правильном ли я пути. Я воображал себя собакой, зачарованной дивным запахом, который исходит от косточки. Как долго принюхивается к своему лакомству пес, как старается продлить удовольствие!

Сначала я попробовал примерить бокс, затем кэндо. Об этих своих экспериментах я еще расскажу, пока же замечу лишь, что мое стремление обнаружить ощущение чистой силы в ударе кулака или выпаде меча было совершенно естественным. В боксерской перчатке, в острие клинка есть нечто, самым неопровержимым образом доказывающее существование невидимого света, излучаемого мышцами. Я пытался дотянуться до абсолютного ощущения, находящегося где-то сразу за гранью возможностей человеческих органов чувств.

Там, за этой границей, где, казалось бы, царит пустота, явно что-то таилось. При помощи чистой силы я мог приблизиться к волновавшей меня загадке почти вплотную, на расстояние шага. Опирайся я на интеллект и художественное восприятие, мне не удалось бы подобраться и на десять, на двадцать шагов к цели. Наверное, искусство нашло бы средство для описания этого «нечто». Однако «средство» в моем случае означало «Слово», а я твердо знал, что абстрактная сущность слова стеной встанет на моем пути — ведь мои искания начались именно с неудовлетворенности художественным выражением как таковым.

Предавая Слово анафеме, не могу не остановиться на изначальной сомнительности акта, именуемого художественным выражением. С помощью слов мы вновь и вновь пытаемся выразить то, для чего определения просто не существует. И иногда, казалось бы, нам удается что-либо выразить! Такое случается, когда искусное сочетание слов распаляет воображение читателя до крайней степени; сила воображения делает сочинителя и читателя соучастниками преступления. И вот в результате преступного сговора внутри художественного произведения возникает нечто, чего там нет и быть не может. Люди называют этот фокус «творчеством» и очень им гордятся.

Когда-то Слово, орудие абстракции, появилось в конкретном мире посланцем Логоса, призванным положить конец всеобщему хаосу, а художественное выражение первоначально представляло собой попытку направить ток в обратную сторону, то есть воссоздать предметы и явления при помощи одной только речи, используя абстрагирующую функцию слов.

Именно это я имел в виду, когда говорил, что литературные произведения — не более чем разукрашенная дегенерация Слова. Художественное выражение воссоздает одни образы, закрывая при этом глаза на существование других.

Как часто истина ленивцев, принималась на веру во имя фетиша, именуемого «воображением»! Как облагородило это слово нездоровую склонность устремляться в глубины истины одним только духом, не утруждая усилиями тело! Присущая воображению сентиментальность заставляет чувствовать боль другого, как свою, но зато собственных болевых ощущений человек стремится не замечать. А как превозносит воображение душевные страдания, подлинную меру которых на самом деле определить очень непросто! Когда заносчивое воображение вступает в преступную связь с самовыражением художника, на свет появляется фальшивка, называемая «произведением искусства», а взаимосуществование множества подобных подделок приводит к тому, что реальность трансформируется и искажается. В результате человек оказывается в каком-то мире теней и утрачивает способность воспринимать даже терзания собственной плоти.

По ту сторону удара кулака и выпада меча таилось нечто, находившееся на противоположном от вербального выражения полюсе. Я чувствовал, что это — квинтэссенция объективного мира, самый дух бытия. И уж во всяком случае это никак нельзя было отнести к разряду теней. По ту сторону боксерской перчатки и клинка набирала силу новая реальность, решительно отвергавшая любые абстракции, вообще не признававшая, что явление можно воспроизвести посредством рассуждений.

Я был уверен, что передо мной — средоточие Действия и Силы, однако в жизни называлось это куда проще: «противник».

Мы с ним были обитателями одной и той же вселенной, я видел его, он — меня, и мы оба обходились без пресловутого воображения, мы принадлежали миру Действия и Силы, где все можно увидеть воочию. Мой противник уж никак не являлся отвлеченным понятием или идеей.

Наши отношения с идеей строятся на совсем иной основе: к идее мы карабкаемся по лестнице из слов, можем подобраться к ней вплотную, пялиться на нее, даже ослепнуть от ее сияния, да только она на нас в ответ глядеть не станет. В мире же, где твой взгляд моментально сталкивается с ответным взглядом, для разглагольствований места и времени нет. Болтающий остается за пределами арены. Это означает, что на него никто не смотрит, благодаря чему у него и появляется возможность предаваться самовыражению — не спеша наблюдать и играть словами. Зато такому

зрителю никогда не удастся постичь суть реальности, отвечающей на взгляд взглядом.

По ту сторону удара и выпада, в пустоте, на меня смотрели глаза противника, и в них я читал главный смысл осязаемого мира. Идея не способна впиваться взглядом, это могут делать лишь существа и предметы, принадлежащие объективной реальности. За пределами художественного выражения, создающего некий поддельный предмет (литературное произведение), просматриваются смутные очертания идеи; за пределами действия, создающего поддельное пространство (к примеру, противника), просматриваются смутные очертания предметного мира. Человеку действия не нужно воображение, чтобы в силуэте этого мира увидеть фигуру смерти, похожую на черного быка, что мчится навстречу тореадору.

Я не мог в это поверить до тех пор, пока сам не увидел предметный мир, возникший где-то на самом краю моего сознания. Я давно догадывался, что сознание обладает только одним физическим подтверждением — болью. В телесном страдании, как и в силе, есть особое сияние; боль и сила состоят в тесном родстве.

Известно, что действие становится результативным, когда многократное повторение доводит его технику до бессознательного автоматизма, однако я стремился вовсе не к этому. С одной стороны, я производил эксперимент с сознанием, двигаясь по линии тело—сила-действие. С другой стороны, я увлеченно экспериментировал с телом, стараясь добиться того, чтобы моя плоть через бессознательное повторение рефлекторных движений стала верхом совершенства. Я вел игру, делая две ставки разом; и истинным очарованием для меня обладала та точка, в которой абсолютная величина сознания слилась бы с абсолютной величиной тела в единую характеристику.

Меня никогда не привлекал искусственный дурман, достигаемый при помощи алкоголя или наркотиков. Сознание должно оставаться незамутненным, чтобы мог проследить, как оно движется к своему пределу, преобразуясь там в бессознательную силу. Разве существует на этом пути более надежный свидетель, чем физическая боль? Она явно связана с работой сознания, а потому оно тоже может выполнять роль свидетеля, наблюдая динамику страдания вплоть до самого финала.

Боль — единственное телесное доказательство существования сознания, а возможно, и единственное его физическое выражение. По мере того как мои мускулы росли и наливались силой, во мне зрела склонность к активному страданию, обострялся интерес к боли. Только не подумайте, что это работало мое воображение. Нет, я напрямую учился у солнца и стали.

Многим, должно быть, знакомо такое ощущение: чем точнее удар боксерской перчаткой или мечом, тем больше он похож на встречный удар, нанесенный противником. Собственная сила, ее выброс создает в пространстве подобие вмятины. Если тело противника оказалось как раз в пределах этой вмятины, в точности совпало с ней по форме, значит, твоя атака была успешной.

Откуда возникает ощущение удачного удара? Разумеется, все зависит от расчета времени и расстояния, но правильность моментального решения определяется тем, успел ли ты заметить приоткрывшуюся щель в обороне противника. Нужно интуитивно почувствовать промашку перед тем, как она случится. Интуиция такого рода обитает где-то вне пределов рационального и достигается лишь длительной тренировкой. Тут нельзя сначала увидеть, а потом ударить. Когда пространство, расположенное по ту сторону клинка, сгустится и примет определенную форму, будет уже поздно. Удар должен был быть нанесен в момент, когда свершилось это превращение; впадине следовало совместиться с мишенью. Так

выигрывают поединки.

Во время схватки такой всегда медленный процесс сотворения мускулов, когда сила обретает форму, а форма порождает силу, неимоверно убыстряется. Излучение силы, похожее на яркий свет, то разрушает форму, то создает ее вновь. Я видел, как красота и совершенство одолевали уродство и неприглядность. В неправильной форме обязательно обнаруживался изъян, через который происходила утечка сияющей силы.

Противник терпит поражение, когда его тело занимает впадину, намеченную тобой для удара, но в этот миг очень важно, чтобы твоя форма не утратила правильности и красоты. Форма должна быть постоянно меняющейся, безгранично подвижной, почти жидкой — чтобы моментально принимать любые очертания. Непрерывное излучение силы должно быть одновременно двигающимся и застывшим — как вода, образующая фонтан.

Такую текучую скульптуру помогает создать продолжительное закаливание солнцем и сталью. Творение это целиком и полностью принадлежит жизни, и главная его ценность состоит в прославлении каждого момента бытия. Именно в этом смысл ваяния: нетленный мрамор навеки запечатлевает мгновенный гимн плоти.

А отсюда вытекает: смерть таится сразу за поворотом, следующий миг принадлежит ей.

Я чувствовал, что в моей руке ключ к пониманию внутреннего устройства героизма. В цинизме, взирающем на любого вида геройство с ухмылкой, непременно присутствует комплекс собственной физической неполноценности. Насмешки над героем всегда раздаются из уст человека, считающего, что сам он на подобное не способен. Непорядочнее всего то, что такой автор, излагая соображения тривиальнейшей логики, ни за что не упомянет о своем физическом несовершенстве (во всяком случае явно, чтобы это было понятно аудитории). Ни разу не приходилось мне слышать или читать, чтобы обладатель сильного тела, вполне годящегося для отважных поступков, издевался над героизмом. Цинизм всегда сочетается с хилой или, наоборот, заплывшей жиром плотью — в отличие от страстного нигилизма и героизма, обычной принадлежностью которых являются закаленные мышцы. А все дело в том, что героизм можно назвать главным принципом телесности, ведь, в сущности, он сводится к контрасту между расцветом плоти и мгновенным ее разрушением — смертью.

Тело само по себе обладает достаточным даром убеждения, чтобы камня на камне не оставить от насмешек, которыми осыпает его сознание. В атлетической фигуре ощутим налет трагедийности; комичного же нет и в

помине. Однако окончательно избавить здоровое, мощное тело от подхихикивания можно лишь введя фактор смерти, который придает плоти достоинство. Представьте только, каким потешным показался бы вам ослепительно великолепный наряд тореадора, если бы это ремесло не было напрямую связано со смертью.

Когда стремишься к абсолютным ощущениям, миг победы в состязании радует не так уж и сильно. Ведь настоящим твоим противником, реальностью, что отвечала тебе взглядом на взгляд, была сама смерть, а ее, как известно, одолеть не может никто. Поэтому победа в поединке — не более чем мимолетная улыбка суетной мирской славы. А если так, то чем такая победа отличается от цели, к которой устремлены помыслы адепта художественного слова?

Зато в величайших произведениях скульптуры, например в бронзовом дельфийском вознице, мы ощущаем подлинную нетленность, ибо ваятелю удалось запечатлеть соединение славы, гордости и смущения, возникшее в миг победы, когда смерть дохнула атлету в самый затылок. Кроме того, в статуях еще есть предельность пространства, символизирующая конечность высшего пика земной славы и неминуемо ожидающее впереди увядание. Скульптор в своей неимоверной гордыне об этом не думал — ему хотелось лишь воссоздать мгновение триумфа жизни.

Итак, достоинство и торжественность тело обретает только в близости к гибели. Значит, решил я, путь должен лежать через страдание, боль и постоянное напряжение всех органов чувств, дающее доказательства бытия. Мне казалось, что неистовые предсмертные муки сочетаются с крепкими мускулами идеальным образом, лишь следуя эстетическим запросам судьбы. А ведь судьба, как известно, не часто прислушивается к голосу Прекрасного.

Нельзя сказать, чтобы на заре своей жизни я не имел ни малейшего представления о физических страданиях, но в те годы из-за мешанины в мыслях и чрезмерной чувствительности я путал боль с душевными терзаниями, не умея отличить одно от другого. Форсированный марш с винтовкой на плече через равнину Сэнгоку и перевал Отомэ к подножию Фудзи был тяжелым испытанием для хилого гимназиста, но я воспринимал тяготы и лишения того учебного похода как чисто пассивную, духовную муку. У меня не хватало мужества приветствовать страдание, самому стремиться к боли.

В древние времена способность выносить боль считалась доказательством мужественности и непременно проверялась в ходе ритуала инициации. Одновременно с этим обряд превращения мальчика в мужчину

символизировал смерть и воскрешение к новой жизни. Но современное человечество успело забыть, какой глубокий конфликт между сознанием и плотью заключен в понятии мужества, прежде всего физического мужества. Принято считать, что сознание пассивно, а тело олицетворяет движение и смелость: однако в драме, имя которой «физическое мужество», эти роли получили противоположные знаки. Тело хочет ограничиться функцией самообороны, а ясное, незамутненное сознание подталкивает его ввысь, к полету, что ведет к саморазрушению и гибели. Предельная ясность сознания — самый важный фактор в отрешении от инстинкта самосохранения.

Назначение физического мужества — сносить боль. Поэтому в нем — источник соблазна, манящего нас вкусить смерти, понять ее; в нем — и первичное условие восприятия нами идеи будущего конца. Сколько бы ни рассуждал кабинетный философ о смерти, ему не подступиться к ее сути до тех пор, пока он не наберет достаточно физического мужества, чтобы признать факт ее существования. Я все время подчеркиваю: физическое мужество, потому что слова «совесть интеллигента» или «интеллектуальное мужество» для меня — пустой звук.

Однако приходится мириться с тем, что мне выпало родиться в эпоху, когда бамбуковый меч перестал быть символом меча стального, и даже в поединке настоящий клинок может лишь рассекать воздух. В фехтовании сконцентрирована вся красота мужественности, но, лишенная какого-либо общественного смысла, эта красота уже мало чем отличается от обычных видов искусства, питающихся за счет художественного воображения, которое стало для меня ненавистным. Меня интересовало только такое кэндо, где нет и не может быть места фантазии.

Полагаю, что наиболее циничные из читателей отнесутся к этому моему признанию насмешливо — кому, как не им, знать, что самую большую ненависть воображение вызывает у мечтателя, предающегося фантазиям постоянно.

Однако мои мечты превращались в мускулатуру. Она существовала в реальности, то есть могла питать воображение других, но моим собственным фантазиям уже была неподвластна. Мое знакомство с миром людей, открытых чужим взглядам, шло все стремительней и стремительней.

Особенность мышц как раз в том и состоит, что, сами лишенные воображения, они стимулируют воображение смотрящего на них. Я пошел еще дальше: занявшись кэндо, я искал чистого действия, в котором вообще не нашлось бы места фантазированию — ни моему, ни чужому. Иногда мне

казалось, что цель достигнута, временами же я чувствовал, что это не так. Но одно не вызывало сомнений: во время схватки моими руками, ногами, голосом управляла некая поселившаяся во мне сила.

Как получается, что тяжелая, темная, сбалансированная, статическая масса, именуемая мускулатурой, в момент действия обретает безумную неистовость? Я всегда любил ощущать свежесть и чистоту сознания, струящегося неостановимым ручейком даже во время высочайшего душевного напряжения. При этом я понимал, что не только у меня медь безумия инкрустирована серебром сознания, — это вообще свойственно человеческому интеллекту. Именно такая серебряная отделка объясняет безумие неистовства. Постепенно я пришел к мысли, что в основе ясности моего сознания — мощь неподвижных, геометрически правильных, безмолвных мышц. Иной раз, когда меч противника ударял не по доспехам, а по открытому телу, меня пронзала острая боль, и усилие совладать с ней возводило мое сознание на новую ступень. Когда же я начинал задыхаться, справиться с одышкой мне помогало накатывающееся неистовство... В такие мгновения я видел перед собой иное солнце, совсем не похожее на ясное светило, столь долго дарившее меня своей благодатью. Это новое солнце ярилось сполохами темных страстей; оно не обжигало кожу, но зато излучало странное сияние. То было солнце смерти.

Для интеллекта достаточно опасно даже соприкосновение с обычным светилом; второе же солнце таит в себе куда большую угрозу. Именно это меня больше всего и радовало...

Вы спросите, как тем временем развивались мои отношения со Словом.

Я уподобил свой литературный стиль мускулам. Он приобрел гибкость и независимость, жировые складки ненужной орнаментальности исчезли, а вместо них появились бугры мышц, без которых современная цивилизация вполне может обходиться, хотя в прежние времена они считались признаком мужества и красоты. Сухой, чисто функциональный стиль мне так же несимпатичен, как чрезмерная чувствительность.

Я оказался один на необитаемом острове. Не только мое тело, но и мой литературный стиль оказались в полном одиночестве. Моя манера письма отвергала любое влияние. Больше всего меня стало привлекать благородство; идеалом красоты мне теперь казалась строгая, обшитая деревом прихожая в старинной самурайской усадьбе, — такая, какой она выглядит в неярком свете зимнего дня. Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством...

Естественно, мой стиль чем дальше, тем больше противоречил веяниям эпохи. Он изобиловал антитезами, отличался старомодной тяжеловатостью,

был не лишен определенного аристократизма, но при любых обстоятельствах сохранял церемониальную размеренность поступи, даже когда маршировал через чужие спальни. Мой стиль, подобно старому служаке, постоянно держал грудь колесом. К тем, кто сутулится, горбатится, сгибает колени или, упаси Боже, вихляет бедрами, он относился с величайшим презрением.

Я знал, что в мире есть истины, которые можно разглядеть только согнувшись в три погибели, но исследовать их я предоставлял другим.

Втайне я вынашивал план достичь единства жизни и искусства, литературного стиля и этоса[1] движения. Если манеру письма сравнить с мускулами или этикетом поведения, то в ее функцию входит сдерживать произвол воображения. При этом какие-то истины неизбежно оказываются вне поля зрения, но тут уж ничего не поделаешь. И меньше всего меня заботило, что при таком подходе мой стиль лишается пугливого напряжения, свойственного смятению и хаосу. Я сам определил, какие именно истины меня занимают, а всеобъемлющей правды искать не стал. Меня не интересовали также правдочки слабые и уродливые; я разработал своего рода дипломатический протокол духа, позволявший справляться с болезнетворным влиянием чрезмерной игры воображения. Игнорировать или недооценивать это влияние было опасно. В любой момент трусливые отряды фантазии могли нанести предательский удар по крепости моего литературного стиля, которую я возвел с таким тщанием. Поэтому я бдительно охранял свой замок днем и ночью. Иногда с крепостной стены я видел, как вдали, на темной равнине зажигается сигнальный огонь. Я говорил себе: это костер. Вскоре пламя гасло. Литературный стиль был цитаделью, оберегавшей меня от воображения и его верной тени — чувствительности. Я требовал от своего стиля одного: чтобы он не терял напряжения, все время был на вахте, как помощник капитана на корабле. Больше всего я ненавижу поражение. Я представлял себе, как меня заживо разъедает коррозия, как желудочный сок чувствительности сжигает мои внутренности, как я раскисаю и расплываюсь, растекаюсь жалкой лужицей; или, что то же самое, как я приспосабливаю свой стиль к размякшему, обессилевшему времени и обществу. Разве бывает фиаско более позорное, чем это?

Как это ни парадоксально, подобное разложение, смерть духа нередко рождают истинные шедевры литературы — это факт общеизвестный. Наверное, появление такого шедевра можно назвать победой искусства, но это победа без борьбы; каковы, впрочем, и все триумфы художественного слова. Я же искал схватки — неважно, победоносной или гибельной. Меня

не привлекало ни поражение без борьбы, ни, тем более, бескровная победа. Вместе с тем я хорошо знал, сколь обманчива природа войн, разгорающихся внутри искусства. Если я стремился к схватке, мне достаточно было оборонять крепость своей литературы, а наступательные действия следовало вести в иных сферах жизни. В том, что касается моего стиля, я должен был стать хорошим защитником, в остальном же — хорошим нападающим. Иными словами, мне предстояло овладеть всем тактическим арсеналом борьбы.

В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал (и часто говорил другим), что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, Слова и Действия. Затем я охладел к этой идее. Когда же я научился у солнца и стали секретному искусству лепить Слово из Тела (а не наоборот, как прежде), во мне возникло равновесие двух разнозаряженных полюсов, и постоянный ток в моей душе уступил место току переменному. Изменился сам мой внутренний механизм — теперь я ощущал в себе как бы работу генератора переменного тока. И тогда я изобрел новый способ существования: два несмешивающихся, противоположных по своей сути потока, которые, казалось бы, должны были вбить клин в мою душу и расколоть ее пополам, на самом деле создали вечно обновляющееся равновесие, где погибшее тут же возрождалось к жизни, чтобы снова погибнуть и возродиться. Мой собственный вариант единства Слова и Действия зиждился на признании биполярности моего внутреннего устройства со всеми его конфликтами и противоречиями.

Когда я достиг этой стадии, мой давний интерес к антиподу Слова начал приносить первые плоды. Идеал действия — испепеляющее стремление к смерти; но проявляется оно не в апатии и безволии, а в бьющей через край силе, расцвете жизни и бойцовском духе. Это и есть антипод литературы. Слово же использует смерть одновременно как двигатель и как средство сдерживания; вся сила уходит на строительство громоздких воздушных замков. Жизнь при этом тщательно оберегается, упаковывается для длительного хранения; ее чуть-чуть приправляют смертью, вводят необходимые консерванты — и все для того, чтобы создать неестественно долговечное произведение искусства. А можно привести и другую метафору. Если Действие — это роняющий лепестки цветок, то Слово — сотворение цветов нетленных. Не будем только забывать, что нетленные цветы — это цветы искусственные.

Идеал единства Слова и Действия ставит целью соединить живое

цветение с вечностью, то есть совместить два противоположных устремления человеческого духа, осуществить обе эти мечты разом.

К чему это приведет? Если одна из двух истин верна, то вторая неминуемо окажется ложной. А это значит, что постижение сути обеих истин, исследование их происхождения, разгадывание их тайн закончится тем, что они лишатся иллюзий относительно друг друга. Возьмем Действие. Почитая себя за истину, оно относится к Слову как к иллюзии, но при этом вверяет ему роль свидетеля своей подлинности; именно Слову, оперирующему фантазиями, поручает оно распоряжаться своими мечтами — так рождаются эпические поэмы. Но литературе свойственно считать, что истинна она, а Действие — не более чем фантом. Тем не менее на самую вершину создаваемого ею сложного художественного мира она возводит именно Действие, устремляясь к этому миражу всеми своими помыслами. В конечном итоге литература оказывается вынуждена признать, что уготованная ей гибель — не плод иллюзии, что если истинен труд писателя, то за ним неизбежно следует и другая реальность — смерть. Это поистине страшная кончина, приходящая к тому, кто так и не жил. И все же человек, почитающий истиной Слово, часто грезит об этой квазисмерти, принадлежащей вымышленному (так он думает) миру Действия.

Мечтам Слова о Действии, как и грезам Действия о Слове, суждено рухнуть. И тогда становится очевидной правда двоякого рода. Действие осознает, что чаровавшие его цветы фантазии — искусственные; Слово же открывает для себя, что соблазнявшая его химерическая смерть не несет с собой никакой благодати.

Таким образом, путь соединения Действия со Словом исключает возможность обрести спасение в мечтах. Две тайны, которым не следует встречаться лицом к лицу, прозревают друг друга насквозь. Тот, кто отважился пойти этой дорогой, должен хладнокровно взирать, как на его глазах в прах рассыпаются и принцип жизни, и принцип смерти.

Под силу ли человеку подобное? К счастью, принцип единства Слова и Действия в абсолютно чистом, беспримесном виде встречается крайне редко. Если такое и происходит, то на миг, не более. Дело в том, что две противоречащие друг другу тайны обычно осознаются нашим разумом в форме смутной тревоги, неясного предчувствия и окончательное подтверждение получают лишь на самом пороге смерти. Человек, избравший путь Слова и Действия, в последнее мгновение своей жизни, когда лелеемый им двуединый идеал, казалось бы, совсем рядом, обязательно предаст его — не с одной стороны, так с другой. Самозабвенно

следовать этому идеалу можно только опираясь на силу жизни. Когда в свои права вступает смерть — измена неминуема. Иначе испытание смертью не вынести.

Пока мы живы, нам доступны любые игры с сознанием. Свидетельство тому — спорт с его многочисленными псевдосмертями и безболезненными воскрешениями. Когда из наслоения множественных мини-гибелей рождается равновесие, победа сознания гарантирована.

Поскольку мое сознание вечно зевало от скуки, интерес у него могла вызвать лишь очень трудная, почти недостижимая цель. То есть такая опасная игра, ставкой в которой стало бы оно само, мое сознание. Каким сладостным показался бы мне тогда освежающий душ после матча!

Было время, когда мне ужасно хотелось узнать: как ощущает внешний мир здоровяк с объемом грудной клетки больше метра? В качестве задачи познания это представлялось мне совершенно недостижимым; обычно познание копошится во тьме, выпуская вперед щупальца интуиции и ощущений; но в этом случае щупальца были вырваны с корнем, ибо поиск вел я, а весь арсенал чувств и экзистенции принадлежал объекту исследования.

Подумайте сами. Мироощущение мужчины с объемом грудной клетки больше метра должно охватывать всю вселенную; если же этот атлет становится сферой изучения, то все окружающие предметы (включая и меня) автоматически превращаются в частицы объективной реальности, регистрируемой его органами чувств. Чтобы познать такого человека, нужно прибегнуть к еще более всеобъемлющему видению мира, нежели у него. Примерно так мы поступаем, когда хотим получить представление о внутреннем мире чужеземца. Нам приходится оперировать гипотетическими мерками, прибегая к абстрактно-всеохватным понятиям вроде «человечества» и «человеческой природы». Точного знания подобным методом добыть невозможно, поскольку полагаться приходится на аналогии. При этом истинная суть предмета остается сокрытой, вопрос не получает прямого ответа; выяснить то, что более всего интересовало исследователя, не удается. И тут в образовавшуюся брешь врывается воображение, со своими декоративными завитушками вроде поэтизирования и фантазирования.

Но внезапно обнаружилось, что я более не нуждаюсь в домыслах. Мое скучающее сознание, долго томившееся неразрешимой загадкой, вдруг открыло для себя, что никакой загадки-то и нет... Дело в том, что окружность моей грудной клетки, оказывается, уже перешла за стосантиметровую отметку.

Вот и сам я очутился на противоположном берегу, среди людей, на которых прежде взирал издали. И туман рассеялся; единственной загадкой осталась смерть. Это неожиданное прозрение вовсе не было победой моего сознания, а потому моя гордыня почувствовала себя уязвленной. Мое разобиженное сознание вновь скучающе зазевало и начало продавать себя столь ненавистному мне воображению и его вечной спутнице — смерти.

В чем же разница? Если глубинный источник подкрадывающегося в ночи, болезненного, сентиментального, самозабвенно чувственного воображения таится в смерти, есть ли здесь различие с концепцией героической гибели? Чем романтический финал отличается от простого увядания? Безжалостность доктрины единства Слова и Действия, исключающей всякий шанс на спасение, подводит к заключению, что разницы нет. Таким образом, и этос литератора, и этос Действия — не более чем жалкие попытки сопротивляться смерти и забвению.

Если различие и есть, оно сводится к следующему, входит ли в понятие чести — бесстрашие взглянуть смерти в глаза. С этим фактором непосредственно связано и то, имеет ли место эстетизация смерти, то есть наличествует ли элемент трагедии, романтики гибнущего тела. Судьба несправедлива — люди рождаются на свет неравными, да и удача в жизни выпадает далеко не всякому. Точно так же своенравна и «красивая смерть» — рок сам решает, кого наградить ею. Впрочем, в наши времена мало кто придает этому значение; моим современникам, в отличие от древних греков, несвойственно стремление красиво жить и красиво умирать.

Почему мужчина входит в соприкосновение с Прекрасным, только когда погибает трагической смертью? Да потому, что в повседневной жизни общество зорко следит за тем, чтобы он не смел и близко подходить к Прекрасному. Красота мужского тела — не объект для восхищения, к ней относятся пренебрежительно. Скажем, профессия актера, требующая от мужчины, чтобы он все время находился на виду у публики, не пользуется в обществе истинным уважением. Во всем, что касается красоты, на мужчину наложены строжайшие ограничения. Ему запрещено объективизировать себя — достичь этого он может лишь наивысшим проявлением Действия, то есть опять-таки своей гибелью. Лишь в этот миг красота мужчины признается, лишь в этот миг на мужчину *можно смотреть* (хотя на самом деле никто, конечно, его смерти не видит).

Безусловно, прекрасна, например, гибель летчиков-камикадзе — причем не только в духовном смысле. Для большинства мужчин в ней есть и сверхэротическая красота...

Здесь объективизация происходит, но лишь благодаря присутствию

посредника, в качестве которого выступает героический поступок, превосходящий возможности обычного человека. Как бы ни тщились слова приблизиться к этому посреднику, им это недоступно — как недоступно самолету угнаться за световым лучом.

Но я сейчас веду речь вовсе не о красоте. Этот предмет требует куда более глубокого изучения. Я же лишь хочу выстроить цепочку самых различных понятий и идей, перебрать их, как четки слоновой кости, и определить роль каждой.

Итак, я сделал открытие, что воображение имеет своим потаенным источником смерть. Вывод напрашивался сам: не нужно держать круглосуточную оборону против воображения, с детских лет терзавшего меня своими атаками; я должен использовать своего давнего врага для контрудара. Но в литературе делать это было поздно, поскольку мой хваленый стиль успел понастроить стен и частоколов, преодолеть которые воображению уже не удастся. Стало быть, если наносить контрудар, то в чистом поле, вне цитадели искусства. Именно это соображение в первую очередь и подтолкнуло меня к Действию.

Детство я провел у окна, жадно вглядываясь вдаль и надеясь, что ветер принесет оттуда тучи События. Я знал, что мне самому изменить мир не под силу, поэтому осталось уповать только на одно: все изменится само по себе, без моего участия. Одолеваемому тревогами мальчику перемены были необходимы как воздух, причем перемены каждодневные — без них я бы просто не смог жить. Я нуждался в Событии не меньше, чем в трехразовом питании или сне; это была утроба, в которой зрело мое воображение.

Мир действительно постоянно менялся и в то же время оставался неизменным Если он принимал ту форму, о которой я давно мечтал, то немедленно, прямо в миг превращения, утрачивал всякое очарование. Я никогда не мечтал о счастье — лишь о потрясениях и катастрофах. Более всего меня устроила бы такая повседневность, при которой вселенная медленно, но верно двигалась бы к краху; когда настали мирные дни, я почувствовал себя неуютно, мне стало трудно жить, У меня тогда еще не было панциря из мускул, чтобы выдержать такое испытание. Весь мой вид говорил: я слаб, я не умею сопротивляться. Да, я просто ждал очередного События, твердо зная, что не стану бороться, а покорно приму новые правила. Много позднее я вдруг понял, что психологическое устройство того юного декадента поразительно напоминало мировосприятие самурая. Не хватало, увы, главного — силы и воли к борьбе. От этого открытия у меня закружилась голова. Я понял, что у меня есть шанс превратить воображение в свое оружие.

Для меня естественный образ жизни — ежедневная и несомненная близость к смерти. Получалось, что я могу достичь этого состояния, не прибегая к искусственным, механическим ухищрениям; элементарная и совершенно неоригинальная концепция Долга давала мне все необходимое. Устоять перед таким искушением было свыше моих сил, и я решил перековать свое воображение в чувство Долга — этот путь представлялся самым коротким. Я не знаю более ослепительного мига, чем тот, когда сила воображения, прежде устремленная исключительно к смерти и всеобщему разрушению, вдруг превращается в понятие Долга. Однако сначала предстояло закалить тело, обрести силу, освоить дух и технику боя. Действовать можно было теми же методами, какими я развивал когда-то воображение. Ведь и фантазия, и меч в конечном итоге устремлены к одной цели — ощутить близость к смерти. Усовершенствование обоих этих искусств позволяло отточить мастерство самоуничтожения.

Голос, призывавший отполировать мое воображение, как полируют стальной клинок, и обратить его в сторону смерти и опасности, давно звучал мне из дальнего далека, но из-за слабости и малодушия я делал вид, будто ничего не слышу. Следовало день за днем наполнять свое сердце смертью, фокусировать каждое мгновение на этом неотвратимом финале, и тогда мечты о наихудшем, что только может ожидать человека, станут неотличимы от грез о славе... А если так, задача мне представлялась несложной: достаточно было действовать в мире тела теми же методами, которые я столь искусно применял в мире духа.

Я уже писал, что прежде следовало подготовить свою плоть, дабы она в любой момент могла воспринять такое радикальное превращение. У меня появилась целая теория, гласившая, что нет ничего невосстановимого и невоспроизводимого. Раз можно воссоздать даже плоть, эту вечную пленницу времени, расцветающую и увядающую вместе с ним, то наверняка есть шанс возродить и самое время. Я не находил в таком допущении ничего странного.

Возможность возродить время означала для меня одно: прекрасная смерть, доселе представлявшаяся мне недостижимой, тоже в моей власти. И вот за последние десять лет я научился многому — силе, страданию, борьбе, преодолению себя; главное же — я научился мужеству преодолевать все эти испытания с радостью.

У меня появилась мечта — стать настоящим воином.

...Рискованное дело — рассказывать о счастье, которое не нуждается в словах.

Однако, надеюсь, читателю уже ясно, что для достижения счастья (в моей трактовке этого состояния) необходимо создать целый ряд весьма непростых предпосылок и пройти необычайно сложную процедуру подготовки.

Как-то мне довелось очень недолго, всего полтора месяца, жить жизнью солдата. Я испытал тогда немало мгновений сияющего счастья, об одном из которых, самом всеобъемлющем и незабываемом, непременно должен написать, хоть ничего воинственного или значительного в том переживании не было. Я жил тогда среди своих товарищей, в коллективе, но миг наивысшего счастья, как это всегда случалось в моей жизни, пришел ко мне, когда я был наедине с собой.

Это произошло 25 мая, чудесным летним вечером. Я был приписан к отряду парашютистов. Тренировка закончилась, и я, приняв душ, возвращался в казарму один.

Предзакатное небо было окрашено в сине-розовые цвета, трава на просторных газонах отливала нефритом, По обе стороны дорожки раскинулся военный городок — ветхие, ностальгического вида деревянные постройки бывшего кавалерийского училища. Конный манеж стал гимнастическим залом, конюшня превратилась в узел связи.

Я был в тренировочном костюме: выданных накануне белых рейтузах, кроссовках и ветровке. Рейтузы уже успели запачкаться землей, и это еще более усиливало ощущение блаженства.

Утренние тренировки по управлению парашютом даже после душа и бани отзывались легкой ломотой в суставах, а потом были учебные прыжки с одиннадцатиметровой вышки. Впервые в жизни я прыгал в открытое пространство, и это неповторимое чувство, хрупкое и полупрозрачное, как церковная облатка, все еще жило в моем существе. Затем я участвовал в кроссе по пересеченной местности, в беге на скорость, и теперь, когда все осталось позади, усиленная работа дыхания напоминала о себе сладкой тяжестью во всем теле. Здесь, в армии, я всегда находился рядом с оружием, мое плечо в любую секунду готово было принять груз винтовки. За минувший день я вдоволь набегался по зеленой траве, моя кожа приобрела золотистый оттенок, и еще — я стоял под солнцем и видел, как далеко внизу, под парашютной вышкой, короткие тени накрепко прилипли к ногам смотрящих вверх. В следующий миг и моя тень, действовавшая сама по себе, безо всякой связи со мной, одиноким черным пятном возникла на траве — это я ринулся ей навстречу с серебристой башни. Несколько секунд я просуществовал без тени, без гнета самоощущения.

Мой день был полон Действия и жизни тела. Я испытал возбуждение,

наслаждение силой; мои мускулы напрягались, пот лил рекой. И вот я возвращался обратно. Вокруг расстилался зеленый ковер трав, легкий ветерок кружил над дорожкой мелкую пыль, косо светило вечернее солнце, рейтузы и кроссовки сидели на мне так, будто я в них родился. Именно о подобной жизни я и мечтал. Наверное, такую же грубоватую радость ощущает учитель физкультуры, когда после жаркого дня, наполненного красотой и хмелем физических нагрузок, в одиночестве возвращается домой; с одной стороны от него — стена старой школы, с другой — кусты и деревья аллеи...

Мой дух замер в абсолютном покое, тело достигло высшего предела чистоты. Я буквально пьянел от счастья, глядя на синеву опустевшего после дневных трудов неба, на меланхолические лучи, просачивавшиеся сквозь густую листву. Я несомненно существовал!

До чего же непросто было достигнуть этого состояния! И вот я добился своего: идеальные образы, ставшие для меня чем-то вроде фетишей, безо всякой помощи слов снизошли благодатью на мои чувства и тело. Армия, спорт, лето, облака, вечернее солнце, зелень травы, белый тренировочный костюм, пыль, пот, мышцы — у меня было все, включая и едва уловимый аромат смерти! В этой мозаике каждый фрагмент был на своем месте. Я не нуждался ни в какой посторонней помощи — ни со стороны людей, ни со стороны Слова. Мой мир был сложен из элементов поистине ангельской чистоты, все примеси на время исчезли, и я купался в лучах неохватного блаженства, чувствуя свое единство со вселенной. Это отдаленно напоминало ощущения купальщика, когда его разгоряченная солнцем кожа погружается в водную прохладу.

...Вполне вероятно, что счастьем я называю те моменты, которые другим кажутся смертельно опасными. Ведь мир, в котором я растворился, отказавшись от посредничества слов, и где достиг блаженства, исполнен трагичности. Разумеется, роковая развязка еще впереди, но все компоненты трагедии в нем наличествуют, гибель неизбежна, понятие «будущего» исключается. Я чувствую себя счастливым потому, что знаю: я обладаю теми качествами, которые дают право жить в таком мире. Я горд тем, что вид на жительство достался мне не благодаря Слову, а благодаря физическому самоусовершенствованию. Лишь там я дышу вольно и спокойно, ибо не ощущаю гнета повседневности, бремени будущего. Именно такой жизни я жаждал с самого окончания войны. Слово не смогло дать мне желаемого; куда там — оно, наоборот, гнало меня прочь от заветной цели. И это понятно, ведь любые самые разрушительные слова

для писателя суть атрибуты повседневности.

Какая злая ирония! Когда эпоха была до краев налита катастрофой и гибелью, когда слово «завтра» не существовало, у меня не было сил испить из этой чаши драгоценного молока. Тогда я занялся самоусовершенствованием, я долго шлифовал свое естество, я добился желанного права — и что же? Молоко оказалось выпито, меня ждала пустая остывшая чаша, а сам я... Я перевалил уже за сорокалетний рубеж. И хуже всего то, что никакая влага на свете не способна утолить моей жажды. Кроме того молока, которое досталось другим.

Оказывается, я ошибался. Не все восстановимо, не все можно воссоздать. Например, время — оно не возвращается. Но моя принципиальная позиция, вся моя жизнь в послевоенные годы тем не менее сводилась к одному: любыми правдами и неправдами я воевал с главной характеристикой времени — необратимостью. Если время действительно необратимо, разве возможно было бы вести такой образ жизни, спросил я себя. Резонный вопрос, ничего не скажешь.

Я отказался признавать условия своего существования, я приказал себе разработать ритуал совсем иной жизни. Раньше правила игры диктовало Слово, оно было гарантом моего бытия. Поэтому изменение жизненного ритуала требовало от меня, чтобы я вырвался за пределы густой тени, отбрасываемой Словом; из человека, творящего слова, мне предстояло стать человеком, творимым словами. Моя задача по сути дела сводилась вот к чему: я должен был изобрести хитроумную процедуру, которая позволила бы фиксировать тень каждого мига жизни. Неудивительно, что испытать всю сладость экзистенции мне удалось в одно избранное мгновение, пришедшееся на краткие минуты одиночества, что выпали на мою долю в период армейской стажировки (тоже весьма непродолжительной). Источник моего тогдашнего блаженства в том, что я сумел, пусть ненадолго, ощутить себя самого тенью давних, полуразложившихся от времени слов. Но сами они в этом моем успехе никакой роли не играли. Я отказался от их помощи и достиг новых вершин бытия благодаря иному гаранту — мускулам.

Ощущение полноты бытия и вызванный им приступ жгучего счастья, конечно же, длились не долго. Но мои мускулы остались при мне. К несчастью, для того чтобы убедиться в прочности собственных мышц, одного чувства полноты бытия мало — приходится полагаться на зрение, а понятие «смотреть» изначально противоположно понятию «существовать».

Я начал замечать, что меня мучает трудноуловимое противоречие между самоощущением и реальным существованием.

Я имею в виду следующее. Если попытаться объединить понятия «видеть» и «существовать», то разумнее всего будет придать своим ощущениям как можно большую центростремительность. Когда человек обращает взор внутрь самого себя, полагаясь лишь на собственное сознание, когда он заставляет себя забыть о внешних формах бытия, ему удается имитировать реальность столь же успешно, как герою «Интимного дневника» Амьеля. Но реальность эта обладает довольно странными свойствами, она похожа на прозрачное яблоко, в котором видны все семена. Полагаться опять-таки приходится только на слова. Типичный образчик одинокого, «слишком человеческого» литератора.

Но ведь вокруг нас есть формы самосознания, напрямую связанные с реальностью. Для них антиномия созерцания и существования носит решающий характер. Вопрос стоит так: как может сердцевина яблока, скрытая за мякотью и непроницаемой красной кожицей, стать доступна глазу? Или так: как может зрение пронзить ткань плода и увидеть его нутро? Причем речь в данном случае может идти лишь о нормальном, здоровом яблоке, свежем и румяном.

Разовью эту метафору дальше. Предположим, что существует некое совершенно здоровое яблоко. Оно появилось не под воздействием Слова, и сердцевины его, как у диковинного плода Амьеля, снаружи не видно. Внутреннее устройство яблока скрыто от взоров. И вот в белесой темноте, в плену сочной мякоти томится сердцевина, с неистовым трепетом желающая удостовериться, что ее яблоко — само совершенство. Итак, плод несомненно существует — это факт. Однако сердцевине этого недостаточно, ей нужен свидетель — если не Слово, то тогда зрение. Для семян единственный достоверный способ бытия — одновременно существовать и видеть. Решить это противоречие возможно только так: взять нож и разрезать яблоко пополам, чтобы сердцевина оказалась на свету, сравнявшись в этом с румяной кожицей. Но сможет ли после этого плод существовать дальше — вот в чем вопрос. Жизнь яблока оборвана; сердцевина принесла существование в жертву ради того, чтобы увидеть.

Когда я понял, что возникшее и тут же рассыпавшееся чувство полноты бытия сотворено не словами, а мускулами, я разделил судьбу яблока. Да, мои глаза могли видеть мускулатуру в зеркале. Но этого было недостаточно, чтобы коснуться самого корня бытия; от зеркала до состояния блаженной наполненности оставалась дистанция неведомой протяженности. Нужно было немедленно преодолеть это расстояние, иначе мне не удалось бы вновь достичь подобного счастья. Мое самоощущение, которое я доверил мышцам, не довольствовалось белесой тьмой мякоти,

окружавшей сердцевину моего яблока, как доказательством существования; мое «я» отчаянно требовало более весомого подтверждения своего бытия и не остановилось бы даже перед тем, чтобы перестать существовать, — лишь бы такое подтверждение получить. О, эта иссушающая жажда не внимать словам, а просто видеть!

Глаза самоощущения, привыкшие устремлять взгляд в непросматриваемые глубины внутреннего «я», полагаются при этом на посредничество Слова и не склонны доверять предметам зримым, в том числе и мускулам.

«Да, похоже, что вы не выдуманные, а настоящие, — говорят глаза. — Но тогда покажите мне, как вы функционируете. Как вы живете, двигаетесь, работаете, как вы выполняете поставленные перед вами задачи».

В ответ мускулы начинают двигаться, но для подтверждения их работы обязательно нужен некий гипотетический противник, объект приложения усилий. Мы безоговорочно поверим в реальность такого противника, только если он нанесет по нашему восприятию мощный удар, который заставит замолчать недоверчивое самоощущение. Необходимо, чтобы нож врага взрезал плоть яблока, то есть мою плоть. Тогда прольется кровь, жизни придет конец, и в миг разрушения факт бытия впервые станет полностью доказан, пропасть между существованием и созерцанием сомкнётся. Это и будет смерть.

Так однажды летним вечером, во время армейского обучения, я открыл, что счастливую полноту бытия способна обеспечить только смерть...

Это не было неожиданностью, ведь я к тому времени уже знал: главными условиями такого изготавливаемого на заказ счастья являются абсолютность и трагичность. С тех пор как я велел себе искать жизнь вне Слова, я ступил на путь смерти. В какие разрушительные одежды ни рядилось бы Слово, оно принадлежит жизни, связь его с инстинктом самосохранения тесна и нерушима. Сколько мне помнится, искусно владеть словами я начал тогда, когда впервые по-настоящему захотел жить. Это Слово добивается от меня, чтобы я как можно дольше растягивал свое существование, вплоть до естественной кончины. Слово — медленно действующая, но роковая бацилла болезни постепенного умирания.

Я уже писал, что мои чувства во многом были схожи с мечтами самурая, что шлифование силы воображения, обращенной к опасности и гибели, напоминает затачивание клинка. Тело давало мне возможность опробовать на деле самые разные метафоры духовного мира. Все получалось именно так, как я рассчитывал.

На меня угнетающе действовала мысль о том, сколько труда тратят впустую солдаты, когда нет войны. Что уж говорить о незаконнорожденной японской армии, несчастная судьба которой заставляет ее держаться как можно дальше от собственных традиций и славы.

Армия в мирное время похожа на гигантскую электробатарею, которая до отказа насыщается энергией, а потом бездействует до тех пор, пока окончательно не разрядится вследствие банальной утечки тока. Потом батарею заряжают снова, и история повторяется, — никакого практического применения этот агрегат не имеет. Все подчинено гигантскому мифу о «грядущей войне». Разрабатываются сложнейшие системы боевой подготовки, солдаты не жалеют сил, но все эти труды уходят в вакуум. День ото дня вянут накачанные мускулы; кто-то стареет, и его убирают, чтобы заменить на молодого, — и все зря.

Сейчас я понимаю мощь Слова лучше, чем когда бы то ни было. Оно имеет дело с пустотой вечно прогрессирующей сиюминутности. Именно пустота — холст, на котором Слово пишет свои картины в ожидании абсолюта. Сколько продлится пустота сиюминутности — неизвестно; когда придет абсолют — тоже неведомо. Слова впитываются в холст времени несмываемыми узорами, как краски на знаменитой ткани «юдзэн», когда полотно промывают в чистой речной воде. Слова запечатлевают каждый отдельный миг пустоты, умирая и вместе с тем обретая бессмертие. Ведь когда замер последний звук, когда дописана последняя буква, слова уже нет, оно умерло. Но аккумуляция этих маленьких смертей, беспрестанная фрагментация непрерывности жизни делает Слово могущественным. Благодаря ему нам не так страшно сидеть и,смотреть на пугающе белые стены в приемной доктора Абсолюта. Пятная миги пустоты, Слово режет непрерывность жизни ломтиками и тем самым придает пустоте видимость некоей субстанции.

Еще у Слова есть способность, возможно иллюзорная, — приближать конец. Приговоренные к казни часто пишут длиннейшие предсмертные записки, чтобы при помощи магии Слова сстругать невыносимые моменты ожидания.

В преддверии встречи с абсолютом каждый из нас — наедине с пустотой сиюминутности; мы вольны выбирать лишь манеру поведения. Ведь так или иначе, но готовиться к встрече нужно. Эта подготовка у многих ассоциируется с самоусовершенствованием, потому что в большинстве человеческих существ живет патетическая потребность максимально «соответствовать» образу абсолюта. Наверное, это самое естественное и чистое из всех людских желаний — подготовить свой дух и

тело к торжественности финала.

Но мечте не суждено осуществиться, ее ждет полный крах. Сколь самоотверженно ни закалял бы человек свое тело, оно неминуемо движется к увяданию. Сколь ни мудрил бы человек со Словом, духу не дано постичь понятие Конца. Слова приучили дух к мини-финалам, он утратил ощущение непрерывности бытия и не в состоянии отличить истинный Конец от ложных.

Главный виновник этого фиаско — время. Но иногда, крайне редко, именно время неожиданно проявляет снисхождение и приходит на помощь. Вот в чем мистический смысл ранней смерти, которую греки почитали особой милостью, достающейся только любимцам богов.

Но я уже утратил особое утреннее лицо молодости. В какие бы бездонные глубины усталости ни погружалось оно накануне, новый день такое лицо встречает на поверхности волн, полным свежести и силы. Большинство людей, к сожалению, до преклонных лет сохраняют привычку подставлять свое истинное лицо ярким утренним лучам. Привычка остается, да лицо-то уже не то. Человек не понимает, что оно обрюзгло от тягостных сомнений и пережитых страстей; не видит, что вчерашняя усталость прикована к нему железными цепями; не сознает, до какой степени непристойно подставлять такое лицо солнцу. Вот так и теряют мужественность.

Поэтому лицо человека мужественного, воина, должно быть маской. Когда оно утрачивает естественное сияние молодости, необходимо прибегнуть к помощи своеобразного политического грима. Меня научили этому в армии. Утреннее лицо командира предназначено для подчиненных, чтобы по нему они могли сразу же прочесть боевую задачу на день. Это лицо прячет свои тревоги, беды, отчаяние; оно всегда должно внушать солдатам уверенность и оптимизм. Командир притворяется, натягивает маску мужества, помогающую отринуть личные горести и стереть следы увиденного ночью кошмарного сна. Только таким обликом должен приветствовать поживший на свете мужчина солнце нового дня.

Меня бросает в дрожь от лиц интеллектуалов, миновавших пору молодости. До чего же они уродливы! Как не хватает им политического грима!

Я начинал свою литературную жизнь, стремясь не выказывать свою сущность, а, наоборот, получше ее замаскировать. Вот почему у меня такой восторг вызывает армейский мундир. Лучший камуфляж для Слова — плоть; лучшее прикрытие для плоти — военная форма. Она сконструирована таким образом, чтобы подчеркивать любое уродство — будь то чрезмерная худоба или толстое брюхо. Личность, стиснутая в пределы мундира, делается на удивление простой и ясной. Мужчина в военной форме для окружающих становится бойцом, и не более того. И уже никому нет дела, что делается у этого человека в душе, кто он — мечтатель или нигилист, скупец или расточитель. Возможно, он одолеваем низменным честолюбием или страдает чудовищным духовным изъяном, — людям все равно, для них он — просто воин. На нем особая одежда, которую в один прекрасный день может пронзить пуля и окрасить кровь. Мундир идеально подходит к важнейшей характеристике тела, для которого заявить о себе означает стать на путь саморазрушения.

...Но я — человек невоенный. Профессия солдата требует серьезной технической подготовки; для того чтобы не утратить с таким трудом обретенные навыки, солдат, подобно пианисту, должен каждый день совершенствовать свое виртуозное мастерство — это я понял очень хорошо.

Наибольшую привлекательность военной службе придает то обстоятельство, что любое, даже самое тривиальное дело осенено в армии ослепительным сиянием славы, неуловимо, но прочно соединено со смертью. Труд литератора совсем не таков. Писатель вынужден постоянно драить свою славу, чтобы отчистить ее от надоевшего мелкого сора, накапливающегося в его душе.

Нам дано услышать два голоса. Один взывает к нам изнутри, другой — извне. Внешний голос еще называют «долгом». Беспредельно счастлив тот, у кого оба эти зова звучат в унисон.

Помню необычно холодный и дождливый майский день. Из-за ненастной погоды отменили учебные стрельбы на батарее безоткатных орудий, и я сидел в казарме один. На равнине у подножия Фудзи дул совсем зимний ветер. В такие дни в большом городе уже после обеда в офисах горит свет, а домохозяйки вяжут перед телевизором, жалея, что поторопились отключить отопление. Никакая сила не заставила бы этих людей без крайней необходимости вылезать под дождь, да еще без зонта.

Неожиданно я услышал шум мотора — за мной приехал на джипе унтер-офицер. Оказалось, что, невзирая на погоду, стрельбы все-таки состоятся.

Мы помчались по разбитой дороге, подскакивая на ухабах. Вокруг не было ни души. Джип взлетел на крутой холм, по которому нам навстречу неслись потоки дождевой воды, и покатил по откосу вниз. Видимость была отвратительная, ветер неистовствовал, высокие травы стелились по земле. Под брезентовый тент залетали дождевые капли, безжалостно хлеща меня по лицу.

Я был рад, что за мной прислали. Меня позвал тот самый голос извне, голос долга. Давно уже не испытывал я такого острого, звериного возбуждения, как в тот день, когда голос долга вызвал меня на холодную, заливаемую дождем равнину, и я ответил на клич, поспешив покинуть теплое убежище.

Какая-то неведомая сила оторвала меня от горячей печки и погнала на холод. Всякий раз, когда возникает подобная ситуация, я без сомнений и колебаний откликаюсь на зов посланца, являющегося словно с другого

конца земли. Обычно принесенная им весть связана со смертью, наслаждением или чем-то внерассудочным. Я иду за посланцем с радостью, оставляя позади комфорт и покой повседневной жизни.

Я слышал этот зов и раньше, давным-давно. Но в те времена мой внутренний голос звучал диссонансом внешнему. Моя плоть была не приспособлена для восприятия клича, что доносился извне; приходилось полагаться на услуги Слова. Обращенный ко мне призыв трепетал, запутавшись в сетях сложных идей, — я хорошо помню возникавшее при этом болезненно-сладостное ощущение. Но я понятия не имел, какая глубинная радость рождается в душе, когда оба голоса встречаются на рубеже плоти и сливаются воедино...

А потом я услышал грохот, вой и увидел, как сквозь пелену дождя в сторону невидимых мишеней одна за другой тянутся ярко-оранжевые нити трассирующих снарядов. Целый час я сидел по уши в жидкой грязи, под проливным дождем, и наблюдал за стрельбами.

Или еще одно воспоминание.

Раннее декабрьское утро. Я бегу совершенно один по дорожке Национального стадиона. Вряд ли это занятие можно было причислить к категории «долга» — я, так сказать, предавался излишеству, но никогда еще не чувствовал себя так роскошно. Рассвет того дня принадлежал исключительно мне одному.

Итак, час восхода. Температура — ноль градусов. Стадион похож на чашу гигантской лилии, безлюдные трибуны — как огромные раскрытые лепестки, белые в черную крапинку. На мне только тренировочные штаны и рубашка, ветер пронизывает до костей; руки онемели. Когда я бегу под восточной трибуной, где еще царят сумерки, от холода захватывает дух; на западной стороне, уже освещенной первыми лучами солнца, дышится немного полегче. Я уже пробежал четыре четырехсотметровых круга, бегу пятый.

Солнце едва выглядывает из-за края белесых лепестков стадиона, небо еще окрашено в неуверенно-лиловые тона сумерек. Ночной ветер не торопится покидать затененную часть арены.

Я бегу, вдыхаю ледяной воздух, а заодно наслаждаюсь ароматами рассвета. Над стадионом витают самые разнообразные запахи: вот восторженное возбуждение разгоряченных зрителей; вот дезодорант, которым пользуются спортсмены; вот трепет ярко-красных, лихорадочно бьющихся сердец; терпкий аромат непреклонной решимости. Именно так благоухает ранним утром исполинская лилия спортивной арены, а

кирпичная крошка беговой дорожки — как цветочная пыльца.

И тут мной всецело завладела одна идея: как скорбная лилия рассвета связана с чистотой плоти?

Сложнейшая метафизическая проблема настолько увлекла меня, что я начисто забыл о напряжении бега. Это был глубоко личный вопрос, возвращавший меня в отроческие годы, когда я любил лицемерно порассуждать о духе и плотской чистоте. Вновь возникла главная тема моего далекого детства — мученичество святого Себастьяна...

Я прошу читателя обратить внимание на то, что я ничего не пишу о своей повседневной жизни, — лишь о мгновениях мистического постижения, которые мне довелось пережить.

Бег тоже был актом мистическим. Он возлагал на сердце тяжелейшую нагрузку, которая чем дальше, тем больше вытесняла из моей жизни будничную рутину. Моя кровь уже не могла обходиться без этого бремени ни единого дня, я постоянно чувствовал, как меня погоняет невидимый кнут. Телу стало противопоказано состояние покоя, мышцы не давали мне расслабиться, требовали активного действия. Нормальный человек назвал бы мой образ жизни полнейшим безумием. Из спортзала я мчался на стадион, со стадиона — в спортзал. Наградой — наивысшей из всех наград — было чувство мини-воскрешения, посещавшее меня сразу после тренировки. Я уже не мог жить без таинства вечного движения, постоянного напряжения, непрестанного бегства от холодной объективности. Само собой разумеется, что в каждой из этих тайн мерцал огонек смерти.

Я и сам не заметил, как очутился под гнетом. Мне в затылок дышал возраст, шепча: «Сколько еще ты сможешь выдерживать такое?» Но порок физического здоровья овладел мною безраздельно; я уже не мог возвращаться в мир Слова без инъекции своих мини-воскрешений.

Это, конечно, не означает, что, возродив дух и тело, я обращался к миру Слова нехотя, лишь по зову долга. Наоборот, этот ритуал гарантировал, что мое возвращение будет радостным.

Мои требования к Слову все более ужесточались. Я старательно избегал всего, что связано с так называемым «новейшим стилем». Наверное, в глубине души я мечтал воссоздать чистую твердыню Слова, существовавшую в годы войны. Я хотел построить заново, по одному мне ведомым законам, крепость литературы, обитель свободы весьма парадоксального свойства: за ее стенами властвует принуждение, внутри же я совершенно волен в своих поступках.

И еще я стремился вновь испытать бездумное опьянение Словом — как

в ту давнюю эпоху, когда я еще верил в его чистоту. То есть я пытался воскресить себя прежнего, источенного муравьями Слова, но теперь уже укрепленного стальными мускулами. Если бы только удалось воскресить времена, когда слова казались (хоть на самом деле, конечно, не были) оплотом счастья и свободы! Так ребенок терпеливо склеивает ломаную-переломаную игральную доску, за которой провел столько увлекательных часов. Возвращение в мир безгрешной поэзии, в Золотой Век — вот что означала для меня эта мечта.

Можно ли было меня семнадцатилетнего назвать невежественным? Ничего подобного. Я знал тогда все. За последующие четверть века к моему знанию не прибавилось ровным счетом ничего. Разница только в том, что в семнадцать лет я был не в ладах с реальностью.

С каким облегчением окунулся бы я вновь в то ощущение всезнания, оно освежило бы меня, как купание в жаркий день. Я исследовал страну своей юности весьма скрупулезно и теперь вижу, что Слово оборвало во мне совсем немного нитей и что радиация всезнания загрязнила довольно небольшой участок моей души. Я хотел использовать слова как зарубки на память, возвести из них мемориал, но применил неверную методику. Я не прибегал к помощи знания, отказывался от него, я выплескивал в слова свой бунт против эпохи; Слово служило мне для описания плоти (которой я тогда еще не обладал); как серебряные трубочки с посланием, привязанные к ноге почтового голубя, мои слова отправлялись в полет — навстречу будущему, навстречу смерти. Вы скажете, что тем самым я продлевал Слову жизнь, и будете правы, но то было поистине пьянящее занятие.

Выше я писал, что главная функция Слова заключена в мистическом ритуале записывания (то есть обрывания) мгновений, из которых состоит бесцветная дистанция, отделяющая нас от смерти. Так кропотливый труд вышивальщицы покрывает мелким узором ткань длинного белого пояса. И еще я писал, что дух, привыкая к подобным мини-финалам, перестает воспринимать непрерывность бытия и уже не может отличить истинный конец от поддельного — дух вообще перестает понимать, что такое Конец.

Что же значит Слово для духа, когда смерть придвигается вплотную и не видеть ее уже невозможно?

Ответ можно прочитать в прощальных письмах летчиков-камикадзе. Эти «экспонаты» выставлены на всеобщее обозрение в музее Этадзима.

Как-то на исходе лета я побывал там. Сильней всего меня поразил контраст между тем, как эти письма были написаны: одни (большая часть) — красивым, торжественным почерком, другие — кое-как, карандашом, явно наспех. Прогуливаясь вдоль стеклянных витрин и читая предсмертные

послания юных героев, я внезапно нашел ответ на давно занимавший меня вопрос: что такое Слово для человека, находящегося на пороге гибели, — средство сказать правду или пьедестал для монумента?

Я очень хорошо помню полудетский почерк одной из записок, небрежно накаряканной карандашом на клочке рисовой бумаги. По-моему, текст запечатлелся в моей памяти дословно, в особенности же поразило меня то, как внезапно он обрывался:

«Сейчас я здоров, полон молодости и сил. Трудно поверить, что через каких-то три часа меня уже не будет. Но все-таки...»

Когда с помощью слов пытаются сказать правду, всегда спотыкаются. Я так и вижу этого парня, ищущего и не могущего найти слова. Он не испытывает ни смущения, ни страха, но такова уж особенность неприкрытой истины — она приводит Слово в замешательство. Ожидание встречи с абсолютом, бесцветное расстояние, отделявшее летчика от смерти, осталось позади; времени отсчитывать мгновения, играя словами, уже не было. Юноша бросился навстречу гибели, но тяга жить, подобно хлороформу, затуманила его волю, заставила дух, уже смирившийся со смертью, на миг замереть. Тут же на широкую грудь летчика, подобно ласковой кошке, проворно вспрыгнули привычные, повседневные слова — и были грубо отброшены решительной рукой.

Авторы прочих писем, тоже немногословных и немудрящих, предпочли благородные, мужественные формулировки: они писали о патриотизме, о ненависти к врагу, о том, что жизнь и смерть — одно и то же. В этих строках чувствуется желание отринуть все личные переживания, слиться с избранным героическим лозунгом.

Конечно, эти хлесткие фразы тоже состоят из слов. Но то особые, прекрасные слова, вознесенные на высоту, которая недоступна повседневности. Да, когда-то у нас были такие слова, но потом мы их утратили.

Их употребляли не для красоты; они были необходимы для того, чтобы человек совершил сверхчеловеческие деяния, ценой собственной жизни взмыл к заоблачным высям духа. Рожденные усилием воли, эти слова требовали отказа от своего «я»; они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией. Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла, слова-лозунги источали поистине неземное сияние; безличные и величественные, они начисто исключали индивидуальность — подвиг каждого становился камнем в основании коллективного монумента. Если героизм — понятие физическое, то он предполагает отказ от личностного, следование некоему классическому

образцу, подобно тому, как Александр Македонский слепил себя по подобию Ахилла. Поэтому слова героя, в отличие от слов гения, должны быть благородны, но тривиальны, то есть избраны из числа уже существующих формул. Только тогда они будут истинным голосом тела.

Вот так я обнаружил в музейных витринах два типа мужественных слов, которыми встречает смерть дух, уверившийся в близком конце.

Если взять мои ранние произведения, в них совершенно отсутствовал элемент близости к смерти, несомненности скорой гибели; они были отравлены трусостью, осквернены искусством. Я использовал слова куда менее красиво, чем летчик-камикадзе. Зато мой дух властвовал над Словом вполне свободно, даже разнузданно. Однако, несмотря на все своеволие юного автора, в его творениях неуловимо присутствовало признание факта конца. Когда я перечитываю те страницы, мне это абсолютно ясно.

Сейчас я часто задумываюсь вот над чем. Я убежден, что мой случай не является таким уж исключительным, наверняка были и другие люди, для кого первыми в жизни появились прожорливые муравьи слов, а тело возникло позднее, уже источенное и изъеденное. Я знаю, что сам себе противоречу, отрицая свою уникальность, пытаюсь настаивать на неповторимости моего жизненного опыта, — казалось бы, путь, который проделало мое тело, должен был бы указать мне на это заблуждение. В годы войны моя плоть предчувствовала финал, а дух осознавал его приближение. В этом я был схож с летчиками-смертниками. Мне следовало идентифицировать себя (пускай бы только духовно!) с теми парнями, кто погиб на войне, — ведь среди них несомненно тоже были те, кто познал на себе работу муравьиных челюстей. Я уверяю себя, что такие наверняка были и в эскадрильях камикадзе. Но они погибли и тем самым окончательно определили свою принадлежность, они навек соединены надежными и счастливыми узами трагедии.

В семнадцать лет я уже знал все, так что должен был понимать и это. Но затем я постарался удалиться от всезнания как можно дальше. Я вознамерился построить памятник самому себе — не используя строительных материалов, которые могла предоставить мне эпоха. Упрямство я принимал за чистоту помыслов; законов зодчества не знал. Разве можно создать монумент из неповторимо личного? Сейчас я отлично понимаю, в чем состояла главная ошибка: я слишком презирал жизнь, конец которой могут положить слова.

Для юной души «презрение» и «страх» — синонимы. Кажется, я очень боялся тогда, что Слово действительно подведет подо всем черту. Мне хотелось уйти от обреченной реальности очень далеко и там создать слова,

которые будут жить вечно. Эта бесплодная затея пьянила меня сильнее вина. Что ж, в ней, пожалуй, было и обещание счастья, и даже надежда. Но тут закончилась война. Дух перестал различать впереди финишную ленточку, и опьянение прошло.

Теперь, много лет спустя, мне захотелось вернуться в те времена. Что бы это значило? К чему я стремлюсь — к свободе? К невозможному? Или два эти понятия идентичны?

Очевидно лишь одно: мне необходимо вновь испытать хмельной дурман, но на сей раз я выберу себе слова, лишенные неповторимости. Тогда они окажутся пригодными для памятника, а мастерством зодчего, который знает, как поставить в жизни точку, я, слава Богу, уже обладаю. Пожалуй, это единственный способ, которым я могу отомстить духу, упорно отказывающемуся видеть впереди свой финал. Я решил не уподобляться большинству людей, которые следуют за своим телом лишь до тех пор, пока оно не начнет стареть и вянуть, а затем покорно тащатся за духом — он слеп, он упрямее тела и потому заводит своих последователей в непролазные дебри.

Я должен заставить свое сознание воспринять идею конца. Тут корень всему. Совершенно ясно, что отсюда начинается путь к настоящей свободе. Мне предстоит снова окунуться в освежающее море всезнания, от которого я отшатнулся в юности, ибо использовал Слово неверно. На сей раз я найду определение всему, даже воде, в которую мне суждено погрузиться.

Я отлично понимаю, что невозможно просто вернуться туда, где уже побывал. Но невыполнимость задачи подстегнет мое скучающее сознание; мой разум, способный увлечься только недостижимой целью, начал мечтать о свободе.

Полная парадоксов жизнь тела предоставила мне возможность с исчерпывающей ясностью оценить ту свободу, которую дают Слово и литература. Смерть от меня не ускользнула, нет. Трагедию — вот что я упустил...

Точнее говоря, я упустил коллективную трагедию или, во всяком случае, трагедию члена сообщества. Если бы я отождествлял себя с некой группой, участие в трагедии далось бы мне гораздо легче, но Слово сделало все, чтобы отдалить меня от других людей. В юности я был слишком слаб, чтобы раствориться в жизни коллектива, и поэтому постоянно ощущал себя изгоем. Мне хотелось во что бы то ни стало взять реванш, и я занялся искусством Слова, а оно, естественно, отвергало само понятие «коллектив». Впрочем, возможно, последовательность была иная:

дождь слов окропил мою душу в ее предрассветный час, когда сознание еще обреталось в сумерках, и это стало предвестием моего будущего изгойства. Я строил сам себе, сгибаясь под тем безжалостным дождем. Это было первое, что я сделал в жизни.

Еще в детстве я интуитивно догадался, что в основе понятия «коллектив» заложен принцип тела. Я убежден в этом и поныне. Лишь в последние годы я понял, что такое общность, — когда открыл для себя «восход плоти» (так я называю красноватые сполохи, вспыхивающие у меня в глазах после особенно тяжелых, почти невыносимых физических нагрузок).

Общность тесно связана с выделениями, не секретируемыми Словом: слезами, потом, стонами. А если пойти еще дальше, то можно сказать, что в основе ее — кровь, истекать которой Слову не дано. На нас производят сильное впечатление предсмертные записки, написанные не чернилами, а кровью, но это оттого, что их текст обычно подобен клише, лишен всякой индивидуальности, а значит, написан языком тела.

Когда я открыл, что физические нагрузки, усталость, пот, слезы и кровь с не меньшим успехом, чем участие в храмовом шествии с переносным алтарем, способны открыть моему взору истинную синеву неба, окунуть меня в источник, где я почувствую себя «таким же, как все», — уже тогда мне стало ясно, что рано или поздно придет день, и я вырвусь из капкана индивидуализма, куда загнали меня слова; я постигну подлинный смысл человеческой общности.

У коллективизма, конечно же, есть собственный язык, но его не назовешь самодостаточным. Речь на митинге не произносится без оратора, лозунг не выкрикивается без агитатора, спектакль не играется без актера — то есть текст подобного рода не может функционировать без живой плоти. Его можно произносить или записывать на бумаге, но он все равно составляется на языке тела. Это наречие не приспособлено для того, чтобы передавать послание из одной уединенной кельи в другую. Коллектив — метафора разделенного страдания, не нуждающегося в посредничестве слов. Мне кажется, что совместность испытаний — непримиримый враг вербального самовыражения. Даже величайший из писателей, развертывающий свою мировую скорбь наподобие циркового шатра, сквозь который проглядывает звездное небо, не способен создать пространство общего страдания. Слово умеет передавать веселость и грусть, но только не муку, ибо развеселиться или опечалиться можно от абстрактной идеи, а равноценная боль доступна только тому, чья плоть переносит точно такое же испытание.

Человеку дано достичь высшего уровня телесного бытия, недоступного одиночке, только если он вольется в группу и разделит с ней страдание. Нужно растворить свое «я», чтобы достичь вершины, с которой подчас просматривается небо богов. Для этого общность, членом которой ты стал, должна обладать трагичностью, заставляющей подняться из болота благодушия, распущенности, лени к высотам совместной боли, а затем и к абсолютному ее пику — смерти. Открытость смерти — непременное условие. Я полагаю, вы уже поняли, что я говорю о коллективе воинов.

Ранним весенним утром я бежал, полуобнаженный и дрожащий от холода, вместе со своими товарищами. Голова моя была стянута белой повязкой с красным крутом солнца на лбу. Я нес тяжесть испытания наравне со всеми, я выкрикивал в такт хору голосов, бежал в ногу и при этом чувствовал, как вместе с соленым потом в кожу впитывается привкус трагедии, неоспоримое доказательство слиянности. То был огонь тела, благородный пламень, раздуваемый жгучим утренним ветром. Мои мышцы радостно звенели от ощущения сопричастности. Все мы, бегущие, равно жаждали славы и смерти. Я был не одинок.

Биение моего сердца передавалось соседям, наша кровь пульсировала единым ритмом. Индивидуальность осталась где-то далеко, в большом городе с его химерами и миражами. Я принадлежал своим товарищам, а они принадлежали мне; вместе я и они являли собой незыблемое Мы. Есть ли более страстная ипостась бытия, чем чувство принадлежности кому-то или чему-то? В монолитности нашего маленького круга проявлялось единство великого, сияющего круга мироздания. Я понимал, что эта имитация трагедии будет недолговечна, как и мое короткое счастье, что она вот-вот рассеется, превратится в обычную работу мускул, но это было неважно. Будь я один, мне пришлось бы вернуться к дихотомии слов и мышц, но сила общности тянула меня за собой вдаль, туда, откуда возврата нет. Впервые я доверялся другим людям. Они принадлежали к сообществу, обозначенному словом «Мы»; каждый из нас слился с этой неиссякаемой, бесконечно мощной субстанцией.

Коллектив, группа для меня — как мост с односторонним движением; по нему можно перейти на другой берег, но обратно уже не вернешься.

ЭПИЛОГ. Р-104

Я научился видеть гигантскую змею, свернувшуюся кольцами вокруг земного шара. Она проглотила свой собственный хвост и тем самым

уничтожила полюсы. Исполинская рептилия смеется над всеми противоположностями. Да, постепенно я стал различать ее контуры.

Противоположности, доведенные до предела, начинают напоминать друг друга; максимально отдаленные предметы, продолжая двигаться в разные стороны, незаметно переходят к сближению. Этому научили меня магические кольца змеи. Тело и дух, чувственное и интеллектуальное, внешнее и внутреннее тоже должны были сойтись в некоей точке — где-нибудь над земной поверхностью, чуть выше белой змеи облаков, опутавшей планету.

Меня всегда интересовали лишь края, пограничные зоны тела и духа; заглядывать в глубины я не любитель — пусть этим занимаются другие. Глубины слишком вульгарны, слишком *мелки.*

Что находится на самой кромке края? Скорее всего, ничего — лишь нарядная бахрома, свешивающаяся в пустоту.

На земле человека прессует сила гравитации: он таскает на себе тяжелую шубу из плоти, обливается потом, натужно бежит, наносит неповоротливые удары, с трудом и невысоко подпрыгивает. Но иногда, сквозь черную пелену усталости, мне доводилось видеть радужные вспышки цвета, которые я прозвал «восходом плоти».

На земле человек иссушает свой разум изысканиями, словно пытаясь улететь в бесконечность; он неподвижно сидит за столом и подбирается все ближе, ближе, ближе к обрыву духа, рискуя сорваться в бездну пустоты. Временами (хоть и очень редко) духу тоже удается разглядеть во мгле зарницы собственного восхода.

Но два эти вида прозрения не гармонируют друг с другом. В них нет ничего схожего.

Ни разу, предаваясь физическому действию, не испытал я пугающе холодного удовлетворения, которое приносят интеллектуальные искания. Ни разу, увлеченный работой разума, не ощутил я жаркого дыхания, самозабвенной черноты телесного бытия.

И все же точка соприкосновения наверняка существовала. Вот только где?

Обязательно есть зона, где движение, достигнув апогея, становится неподвижностью, а статичность превращается в движение.

Стоит мне начать бешено размахивать руками, и я тут же потеряю частицу своей интеллектуальной крови. Стоит мне хоть на миг задуматься перед нанесением удара, и он не поразит цели.

Я был уверен, что где-то обретается принцип более высокого порядка, примиряющий эти полюса и сводящий их воедино.

Имя ему — смерть, в этом я не сомневался.

Но я привык воспринимать смерть слишком мистически. Я забыл о самой простой, физической ее стороне.

А ведь Земля плотно окутана смертью. Высшие слои атмосферы, где уже нет воздуха, взирают сверху на нас, ползающих по поверхности и привязанных к ней физиологическими условиями нашего собственного бытия. Там, наверху, властвует чистая, беспримесная смерть, но человека она поражает крайне редко, ибо та же физиология не пускает его подняться ей навстречу. Если бы мы могли взлететь туда без защитных приспособлений, то моментально бы погибли. Для того чтобы выжить, войдя в соприкосновение с космосом, человеку нужна особая личина — кислородная маска.

Дух и разум привыкли парить в этих безвоздушных высях, но взять с собой тело мы не можем — оно там не выдержит. Полеты одного духа совершенно безопасны, им не дано заглянуть в лик смерти. И всякий раз дух, разочарованный и неудовлетворенный, вынужден возвращаться в свое телесное жилище. Странствия души не способны привести к заветному единству. Духу и плоти необходимо отправляться в полет вместе — иного пути нет.

Когда я пришел к этому выводу, я еще не знал о существовании змеи.

Зато мой разум был отлично знаком с небесными вершинами. Мой дух взлетал выше любой птицы, не страшась кислородного голодания. Он вообще не испытывал потребности в кислороде. Ох уж этот дух! Как смеялся он над жалким кузнечиком тела, способным только на низенькие скачки и никогда — на взлет! Помню, как забавляло меня это жалкое копошение в траве.

Но кое-чему, оказывается, можно научиться и у кузнечика. Со временем я стал жалеть, что не беру тело в свои полеты, оставляя его на земле, в тяжелой клетке мышц.

И вот однажды я захватил тело с собой; мы оказались в барокамере для предполетных испытаний. Пятнадцать минут я проходил денитрификацию, то есть вдыхал стопроцентный кислород. Тело с изумлением обнаружило, что помещено в ту же среду, куда каждую ночь погружается дух: неподвижность, прикованность к креслу, необходимость решать непосильную задачу.

Для духа испытание было несложным — ведь он привык к головокружительным высотам, но тело оказалось в подобных условиях впервые. Я вдыхал кислород: маска то прильнет к ноздрям, то отпрянет. Дух тем временем вел разговор с плотью.

«Послушай, — говорил он, — сегодня ты вместе со мной. Не двинувшись с места, ты вознесешься к наивысшим из доступных мне пределов».

«Ничего подобного, — надменно отвечала плоть. — Раз я отправляюсь в путь с тобой, значит, как высоко бы мы ни взлетели, ты все равно останешься в моих границах. Ты не можешь этого понять, потому что все твои предыдущие полеты происходили над письменным столом».

Но я нс придавал значения этой перебранке. Так или иначе, мои тело и дух отправились в путь вместе, при этом не сдвинувшись с места.

Воздух всасывался небольшим отверстием в потолке. Я почувствовал, как понижается давление.

Неподвижная барокамера имитировала ощущения набора высоты. Десять тысяч футов, двадцать тысяч футов. Вроде бы ничего вокруг не изменилось, но камера с неистовой силой рвала путы земного притяжения. Кислорода в помещении почти не осталось, очертания обыденных предметов стали таять. На тридцати тысячах футов меня накрыла тень чего-то невидимого, я стал разевать рот, как вытащенная из воды рыба. Однако цвет ногтей был в порядке: посинения, верного признака кислородного голодания, пока не наблюдалось.

Нс испортилась ли маска, — забеспокоился я и покосился па шкалу регулятора. Нет, все было в порядке — стрелка качалась в такт каждому моему вдоху. Значит, кислород по шлангу идет. Просто газы, которыми наполнено тело, начали пузыриться, отчего и возникло ощущение удушья.

До этого момента я сохранял спокойствие, довольный тем, что мои дух и тело переживают совместное приключение. Я раньше и не представлял, что можно переноситься в пространство, не трогаясь с места.

Сорок тысяч футов. Дышать все труднее. Но дух и тело крепко держатся за руки, вместе они лихорадочно ищут — нс осталось ли где-нибудь хоть немножко воздуха, пусть самая малость. Нашли бы — проглотили одним глотком.

Моему духу и прежде доводилось знаться со страхом и тревогой, однако он впервые столкнулся с недостачей основного жизненного элемента, который всегда поставлялся телом автоматически. Я попробовал затаить дыхание и сосредоточиться, создать физические условия для работы мозга усилием воли. И тут дух задышал вновь — нехотя, словно идя на неизбежный компромисс.

Сорок одна тысяча. Сорок две. Сорок три. Я чувствовал во рту стойкий привкус смерти, присосавшейся мягким и теплым осьминогом. Я много мечтал о гибели, но не о такой, похожей на обволакивающую, темную

субстанцию. Все время мозг напоминал мне: не бойся, это тренировка, ты не умрешь, но неорганическая игра, происходившая в моем теле, дала мне возможность воочию увидеть смерть, таящуюся над поверхностью планеты.

...Внезапно я сорвался в свободное падение. На высоте двадцати пяти тысяч вышел из «штопора», снял маску и испытал резкий приступ гипоксии; перепад давления отозвался оглушительным гулом в ушах, камеру заволокло белесым туманом.

Тест я прошел. Получил розовую карточку, свидетельствовавшую, что я годен к полетам. Отсюда было уже рукой подать до момента, когда я смогу выйти к рубежу, где смыкаются внутреннее и внешнее, где входят в соприкосновение кромка души и кромка тела.

День 5 декабря выдался ясным и чистым.

На аэродроме военной базы, посверкивая серебром, выстроились в ряд эскадрильи реактивных истребителей Р-104. Возле самолета с бортовым номером 016 хлопотали техники, готовя машину к взлету. Впервые в жизни я видел Р-104 в состоянии неподвижности, раньше мне доводилось лишь провожать завистливым взглядом его полет в небесах. Угловатый, стремительный, как божество, силуэт появлялся, прочерчивал синеву и тут же исчезал. Как долго мечтал я очутиться там, наверху, внутри этой серебряной точки! О, что это было бы за переживание! Какая самоотрешенность! Какая великолепная насмешка над упрямой домоседкой-душой! Как взрезает самолет небо, как распарывает этот гигантский синий занавес молниеносным ударом кинжала! Кто отказался бы почувствовать себя острием такого волшебного клинка?

Я был в красном скафандре, с парашютом на плече. Мне показали, как подключать и отсоединять жизнеобеспечивающие системы, проверили кислородную маску. Тяжелый белый шлем на время перешел в мою собственность. К каблукам сапог не прицепили серебристые «шпоры», которыми положено прикреплять к креслу ноги, чтобы не переломать их при взлете.

Было два часа пополудни. Солнечный свет, просеиваясь сквозь легкие облака, лился на аэродром мелкими посверкивающими каплями. Рисунок неба и освещение были совсем как на полотнах старых мастеров-баталистов. Из невидимого алтаря, спрятанного за облаками, на землю падали тонкие светоносные лучи. Я не знаю, зачем небу понадобилось именно в тот день разыграть столь величественное, грозное и старомодное действо, зачем свет струился вниз так весомо, осеняя дальние леса и

деревни таинственным, неземным сиянием. Очевидно, небо знало, что сейчас оно будет взрезано, и устроило торжественную прощальную мессу. Отвесные лучи казались мне трубами огромного органа...

Я сел в заднюю кабину, прикрепил «шпоры», еще раз проверил маску, закрыл над собой стеклянную полусферу фонаря. Пилот находился в передней кабине, мы разговаривали по рации, и нашу беседу все время прерывали отрывистые команды на английском. Прямо перед коленями желтело кольцо катапульты, уже вынутое из гнезда. Вокруг — множество приборов: альтиметры, спидометры, барометры. В моей кабине был дублирующий штурвал, и я наблюдал по его движениям, как летчик проверяет систему управления.

14 часов 28 минут. Заработали двигатели. Сквозь металлический гул я слышал оглушительное, почти ураганное дыхание напарника. Четырнадцать тридцать. Наш 016-й плавно вырулил на взлетную полосу, замер на месте и включил двигатели на полную мощность. Я почувствовал себя совершенно счастливым. Я отправлялся в мир, где повседневное, обыденное, наземное не в цене. Разве можно было сравнить такой момент с взлетом пассажирского лайнера, перевозящего обывателей с места на место!

Я очень долго, страстно, нетерпеливо ждал этого мига. Все познанное осталось за спиной, впереди — только неведомое. Мгновение взлета напоминало взмах лезвием тончайшей бритвы. Да, я давно мечтал испытать это ощущение, причем именно при таких жестких и беспримесных условиях. Ради нынешней минуты я, наверное, и жил. Меня переполняли любовь и благодарность к тем, кто помог моей мечте сбыться.

Как же я мог забыть, что есть такое слово «прощание». Я был похож на чародея, усилием воли пытавшегося вычеркнуть из памяти роковое заклятье.

Взлет F-104 будет впечатляющ. Отметку в 10 000 метров, которую истребители военной поры достигали за 15 минут, мы минуем всего за две минуты. На меня обрушится перегрузка, стиснет внутренности стальным кулаком, превратит кровь в тяжело струящийся золотой песок. С моим телом произойдет алхимическое превращение.

Острый серебряный фаллос истребителя вздыбился навстречу небу. Я ощущал себя заряженным в него сперматозоидом. Скоро мне предстоит узнать, что чувствует сперматозоид в момент семяизвержения.

У меня нет сомнений в том, что перегрузки, вызванные высотным полетом, — одно из самых редких, маргинальных, диковинных ощущений эпохи, в которую мы живем. Нет периферии, более отдаленной от нашего

обыденного опыта. Мне думается, что высшее проявление психической деятельности сегодня можно испытать лишь в момент перегрузки. Гроша ломаного не стоят любовь или ненависть, не готовые подняться на такую высоту.

Перегрузка — физическая ипостась всесокрушающей божественной воли; это опьянение, полярно противоположное обычному хмелю; интеллектуальная вершина, являющаяся антиподом разума.

Р-104 оторвался от земли, нос его был устремлен вверх. Не успел я опомниться, как мы уже пронзили пелену облаков.

Пятнадцать тысяч футов, двадцать тысяч.

Стрелки альтиметра и спидометра метались по циферблатам проворными белыми мышками. Предзвуковая скорость 0,9 Маха.

Вот и перегрузка. Она показалась мне совсем не мучительной, а, наоборот, нежной и сладостной. Грудная клетка стала совершенно пустой — словно из нее исторгся стремительный водопад. Я ничего не видел, кроме пепельно-голубого купола неба. Мы как бы вгрызлись в небосвод, откусили от него изрядный кусок и проглотили. Голова была на удивление свежей и ясной. Кругом — безмолвие, покой, безбрежность; по голубизне разбросаны семяподобные лужицы облаков. Я не могу сказать, что чувствовал себя проснувшимся, ибо до того я не спал, но пробуждение все же состоялось — моя душа содрала с себя некую обволакивающую пелену, представ передо мной чистой и нетронутой. Солнце безжалостно слепило меня, заливая кабину сиянием, а я задыхался от светлой радости. Зубы мои были стиснуты, словно от невыносимой боли.

Я находился внутри того самого Р-104, который прежде видел только высоко вверху, рассекающим небо! Я оказался внутри этой отдаленной серебряной точки! Еще совсем недавно я принадлежал к числу обитателей Земли, и вот я уношусь от них в неведомую даль: я превратился в точку, которую они провожают взглядом, чтобы тут же о ней забыть.

Стоит ли удивляться, что сияние солнца, наполнявшее кабину голым, неистовым светом, казалось мне ореолом славы. Именно так представлял я ее: неорганический, сверхъестественный, беспощадный свет, переплетенный с опасными космическими лучами.

Тридцать тысяч футов, тридцать пять тысяч.

Море облаков далеко-далеко внизу, оно расстилается ровным ковром белого мха. Истребитель мчится на юг, в сторону океана, чтобы не преодолевать звуковой барьер над населенной местностью.

Четырнадцать сорок три. На высоте в тридцать пять тысяч футов мы постепенно убыстряем движение и переходим с предзвуковой скорости на

1,15 Маха, потом 1,2 Маха, 1,3 Маха. Высота — сорок пять тысяч. Солнце сползает куда-то вниз, мы уже выше него.

Ничего не происходило.

Просто плыл в ярком сиянии серебряный самолет, сохраняя идеальное равновесие. Я снова оказался в герметичной неподвижной камере. Р-104 словно оцепенел. Маленький серебряный домик причудливой формы, застывший среди небес.

Давешняя барокамера имитировала полет в безвоздушном пространстве очень точно: недвижность лучше всего передает ощущение предельной скорости.

Я не испытывал ни малейших признаков удушья. На душе было светло, мысль работала ясно. Я сделал открытие: замкнутое пространство и пространство открытое способны служить человеку, его душе одновременным обиталищем. Раз в апогее действия и движения находится покой, то вполне вероятно, что окружающий меня небесный простор, ковер облаков, мерцающее бликами море, сползшее вниз солнце — суть явления моего внутреннего мира. Отдалившись от земной поверхности, приключение духа и приключение тела без труда нашли общий язык. На эту-то высоту и мечтал я воспарить.

Застывшая в небе серебряная трубочка олицетворяла мой разум, а ее недвижность — состояние моей души. Мозг лишился защиты черепной коробки и стал доступен окружающей среде, как морская губка. Мир внутренний растворился в мире внешнем, они общались друг с другом совершенно свободно. Простая вселенная, состоявшая только из облаков, океана и заходящего солнца, превратилась в величественную панораму моего душевного устройства. В то же время явления и события моего «я» сбросили оковы психологии и эмоций, превратились в гигантский росчерк, размашистые письмена на небосклоне.

Тут-то я и увидел змею.

Белая змея облаков вцепилась в собственный хвост и обмотала землю бессчетными кольцами.

Все, что предстает перед нашим мысленным взором — пусть даже на миг, — существует на самом деле. Если не сейчас — так вчера, не вчера — так завтра. В этом сходство барокамеры с космическим кораблем или моего рабочего кабинета в ночной тиши с истребителем Р-104 на высоте сорок пять тысяч футов. Тело наполняется светом грядущей одухотворенности, дух озаряется предчувствием телесности. А сознание непрестанно наблюдает за этими взаимопревращениями. Вот и мое сознание обрело легкость и ясность дюралюминия.

Если исполинская змея, обволакивающая и поглощающая все полярности, предстала пред моим взором, значит, она есть в действительности. Она застыла в вечности, гонясь за собственным хвостом. Кольца ее — просторнее смерти, душистее гибельного аромата, что коснулся моих ноздрей в барокамере. С сияющих небес на нас взирает великий принцип единства сущего.

В наушниках раздался голос пилота:

— Сейчас снизимся, возьмем курс на гору Фудзи, сделаем вокруг нее кружок, а потом покрутим восьмерки, малость покувыркаемся и домой. На обратном пути пролетим над озером Тюдзэндзи.

Справа показался черный, словно вырезанный ножницами силуэт Фудзи, по самые плечи укутанной в облака. Слева поблескивал предвечерними бликами океан, белым йогуртом клубилась дымка над дальними островами.

Мы уже спустились до двадцати восьми тысяч.

В прорехах меж облаками пылали огненные лилии — это пламенела закатными красками и благоухала гладь океана. Края облаков, окрашенные пурпурными отсветами, и в самом деле были похожи на лепестки цветов.

ИКАР

Неужто я принадлежу небу?
А если нет, то отчего
Оно так пристально взирает на меня
Своими синими очами
И манит душу вверх,
В неведомые выси,
Где человеку места нет?

Рассчитан точно мой полет,
Обдуман, выверен, измерен.
В нем нет и ни на гран безумья.
Но разве сама жажда взлета
Не похожа на безумье?

Ни в чем мне не дано найти отраду,
Земле не удивить меня своими новинками.
Я рвусь в высоты,
Где властвует тревога,
Где совсем рядом лучи солнца.

Но отчего они сжигают меня,
Эти безжалостные лучи разума?
Почему они хотят меня уничтожить?

Чем дальше вниз до людских селений
И змеящихся изгибов рек,
Тем милей они сердцу,
Тем легче с ними мириться.
Зачем взывают они ко мне,
Суля возможность любви,
Любви к человеку и всему человеческому,
— Если только я взгляну на них с высоты?

Ведь я не любви искал!
А если ее, то, значит,
Я не принадлежу небу. .
Я не завидовал свободному полету птицы,
Не мечтал сравниться в безмятежности с природой,
Лишь хотел быть выше и ближе.
И от этой загадочной жажды
Разрывалась грудь.
И тянуло броситься в синее небо,
Прочь от органики земных радостей,
Прочь от грез о превосходстве.
Вверх, все выше и выше,
Чтоб плавился воск крыльев
От жара и дурмана.

А может быть,
Я все же — тварь земная?
Иначе зачем бы стала Земля
Так радостно принимать мое паденье?
Она не дала ни опомниться, ни одуматься,
Она поманила мягкой истомой
И встретила ударом стального щита.
Зачем податливая Земля
Обернулась безжалостной сталью?
Неужто лишь чтобы напомнить о том,
Как мягок я?
Чтобы сама природа мне объяснила:

Паденье естественней взлета
И непостижимого накала страсти?

Неужто лазурь неба — химера?
Неужто мой полет — затея Земли,
Соблазнившей своего питомца
Жарким хмелем восковых крыл?
Неужто и небо с Землей заодно,
Исполнитель моего приговора?
За что осужден я на казнь?
За то, что не верил в себя?
Или, наоборот, верил слишком сильно?
За то, что возжаждал понять,
Кто я на самом деле?
Или, наоборот, решил, что все знаю?
За то, что хотел улететь
В незнаемое
Или познанное — неважно?
Ведь то и другое лишь точки,
Синие точки духа.

Примечания

1

Этос (греч.) — характер, обычай, нрав, норма поведения (производное от слова «этос» — слово «этика»).